

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ РУКОПИСНОГО НАСЛЕДИЯ ХУДОЖНИКА И ПУБЛИЦИСТА

Статья Г. М. Фридендера

1

С начала 1860-х годов Ф. М. Достоевский систематически пользовался записными книжками и рабочими тетрадями, куда он заносил черновые заметки, планы будущих произведений, записи и наброски к ним. Публикация отдельных заметок из записных книжек и рабочих тетрадей писателя началась уже вскоре после его смерти: в 1883 г., в первом томе посмертного полного Собрания сочинений Достоевского, изданного его вдовой под редакцией Н. Н. Страхова и О. Ф. Миллера, был помещен ряд отрывков, озаглавленных «Из записной книжки Ф. М. Достоевского». Другие разрозненные черновые заметки и наброски, извлеченные из записных книжек и тетрадей, были опубликованы А. Г. Достоевской (или с ее разрешения) в журналах «Северный вестник» (1891, № 11), «Новый путь» (1904, №№ 1, 2), «Былое» (1907, № 8), а также в VIII томе изданного А. Г. Достоевской в 1906 г. юбилейного издания сочинений писателя (часть черновых материалов к «Бесам»).

Новый период в истории публикации записных тетрадей, как и всего рукописного наследия Достоевского, начался после Октябрьской революции. В 1922—1931 гг. Н. Л. Бродский извлек из записных тетрадей план «Жития великого грешника» и ряд других черновых набросков неосуществленных творческих замыслов, Р. И. Аванесов в 1927 г. опубликовал заметки, связанные с проектом переработки «петербургской поэмы» «Двойник», а Н. Ф. Бельчиков в 1928 г.— материалы к «Крокодилу». В 1931 г. в издании Централрхива под общим названием «Из архива Ф. М. Достоевского» вышли неизданные материалы из записных тетрадей к «Преступлению и наказанию» (публиковавшиеся И. И. Гливенко с 1925 г.) и материалы к «Идиоту», изданные под редакцией П. Н. Сакулина и Н. Ф. Бельчикова. В 1935 г. издательством «Academia» были напечатаны полностью подготовленные Е. Н. Коншиной четыре «Записные тетради Ф. М. Достоевского», содержащие заметки и наброски к «Бесам», а также к другим творческим замыслам 1869—1872 гг. Тогда же А. С. Долининым в сборнике Института русской литературы АН СССР «Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования» в серии «Литературный архив» были изданы черновые записи к «Братьям Карамазовым» (сделанные большей частью на отдельных листах, а не в особой тетради, как в остальных перечисленных случаях). Наконец, в 1965 г. в томе 77 «Литературного наследства» А. С. Долининым были опубликованы и прокомментированы творческие рукописи «Подростка»¹. Многие из названных текстов были впоследствии переведены на иностранные языки и в этом виде стали достоянием также и зарубежного читателя.

В настоящем томе редакция «Литературного наследства» печатает еще три записные книжки и восемь рабочих тетрадей Достоевского, публикация которых завершает в основном издание всего цикла его рукописных материалов, известных в настоящее время. (Сюда входят и заметки из записных тетрадей к «Подростку», тематически не связанные с романом, а потому перенесенные в настоящий том.)

Пять записных книжек и тетрадей относятся к первой половине 60-х годов, к периоду издания журналов «Время» и «Эпоха» (1861—1865), три — к 1872—1875 гг., две — к 1875—1877 гг., ко времени работы над «Дневником писателя», и одна — к 1880—1881 гг.

В отличие от ранее изданных материалов из записных тетрадей, содержавших, главным образом, наброски и черновые варианты художественных произведений (или заметки автобиографического характера), вновь публикуемая группа материалов включает как тексты, отражающие работу Достоевского над рядом его художественных замыслов — завершенных и не доведенных до конца, так и наброски к его литературно-критическим статьям и публицистике. Черновые заметки и наброски к статьям 1861—1865 гг. и к «Дневнику писателя» за 1876 и 1881 гг., планы очередных номеров «Времени», «Эпохи», «Дневника писателя», заметки, связанные с журнальной полемикой и отражающие часто непосредственную реакцию Достоевского на отдельные эпизоды литературно-общественной борьбы тех лет, составляют в количественном отношении большую часть материалов данных тетрадей, хотя, наряду с записями литературно-критического и публицистического характера, в них содержатся также и очень важные творческие и автобиографические материалы. Таковы впервые публикуемые здесь полностью планы романов «Отцы и дети» (1876) и «Мечтатель» (1876—1877), черновые материалы к «Двойнику», «Пьяненьким», «Крокодилу», «Скверному анекдоту», «Кроткой» и к другим произведениям. Рядом с ними в тетрадях содержатся многочисленные биографические заметки, без учета которых невозможна работа над научной биографией Достоевского и подготовка нового, расширенного издания летописи его жизни и творчества.

Таким образом, трудно переоценить важность вновь публикуемых материалов из записных тетрадей Достоевского. Они имеют первостепенное значение для решения многих вопросов жизни и творчества писателя, для понимания многих его замыслов, его общественных и литературно-эстетических позиций, особенностей его журнальной работы, его поэтики и литературного мастерства.

Несмотря на то, что записные книжки и рабочие тетради, публикуемые в настоящем томе, до сих пор не были разобраны и изданы полностью, часть заключенных в них черновых материалов уже и в прошлом многократно привлекала к себе внимание исследователей биографии и творчества Достоевского. Отдельные записи из этих тетрадей были изучены в советские годы Л. П. Гроссманом², Р. И. Аванесовым³, Н. Ф. Бельчиковым⁴, С. С. Борщевским⁵ и другими. Однако каждый из поименованных исследователей подходил к содержанию записных тетрадей, руководствуясь частной, специальной темой своей работы. Л. П. Гроссманом были прочитаны и опубликованы несколько отрывков биографического характера; Р. И. Аванесов воспользовался для воссоздания творческой истории «Двойника» относящимися к проектам переработки этой повести черновыми материалами; Н. Ф. Бельчиков извлек из рукописного наследия Достоевского и напечатал черновые материалы к «Крокодилу», полемические отзывы о «Дыме» Тургенева и т. д.; С. С. Борщевский выделил из различных записных тетрадей и прокомментировал заметки, относящиеся к Щедрину и его произведениям, а также к идеологическим спорам между Щедриным и Достоевским. Однако записи, опубликованные этими и другими, не названными здесь учеными, составляют лишь незначительную часть материалов, содержащихся в публикуемых тетрадях. Кроме того, прежнее изучение этих записей и выводы, сделанные на его основании, носили во многом предварительный характер, поскольку не был расшифрован и тщательно изучен весь текст данной записной книжки (или тетради), а следовательно, не был определен и тот конкретный контекст, в котором находится в ней та или другая привлекавшая внимание исследователей запись. Поэтому можно с полным правом сказать, что лишь после настоящей — полной — публикации материал указанных тетрадей не только станет доступным каждому исследователю Достоевского, но и возникнет та прочная основа, которая поможет избежать субъективизма и возможных неточностей при его интерпретации.

Подчеркивая важное значение вновь издаваемых записных тетрадей великого русского романиста, нужно в то же время предостеречь читателя и от одного неправильного вывода, который может быть сделан при недостаточно вдумчивом изучении этих тетрадей. В 1920-е годы, когда впервые были собраны и прокомментированы письма Достоевского и опубликована большая группа его до того неизвестных рукописных материалов, в научной литературе о Достоевском нередко давала о себе знать односторонняя тенденция (которая в те времена была в известной мере характерна не только для изучения Достоевского, но и для изучения творчества других писателей XIX в.). Увле-

ченные новизной архивного материала, впервые ставшего благодаря Октябрьской революции достоянием науки, исследователи тех лет нередко подпадали под своеобразный гипноз, вызванный обилием этого материала, и в результате в их работах нарушались необходимые чувство меры и исследовательский такт. Исходя из того, что в письмах и черновиках Достоевский и другие писатели XIX в. могли не бояться цензуры и не были связаны литературно-тактическими соображениями, исследователи 20-х и 30-х годов нередко односторонне и неправильно освещали значение вновь открытых рукописных текстов, становясь на путь противопоставления их изданному самим писателем печатному тексту. Отзвуки подобного неправомерного противопоставления рукописных текстов печатным, противопоставления, приведившего исследователя к безосновательным упрекам по адресу писателя в «неискренности», сокрытии им будто бы в печати своих истинных суждений, к предпочтению ученым оценок, извлеченных из рукописей писателя, оценкам и суждениям, высказанным последним в его опубликованных произведениях, — можно порою встретить и в исследовательской литературе о Достоевском вплоть до последнего времени (примером здесь может служить весьма содержательная в целом, но часто односторонняя и спорная по истолкованию материала книга С. С. Борщевского «Щедрин и Достоевский»).

Приступая к изучению записных книжек и тетрадей Достоевского, мы, конечно, должны учитывать, что перед нами — не законченные и обдуманые произведения, а беглые рабочие записи, сделанные обычно наспех, под непосредственным впечатлением тех или других событий. Записи эти отражают не столько прочные, установившиеся результаты мысли писателя, сколько самый ход его размышлений, а нередко даже лишь первоначальную, предварительную их стадию. Они отражают процесс «нащупывания» и развития Достоевским важных и существенных для него в дальнейшем выводов, но одновременно и те «издержки», которые обычно присутствуют во всяком процессе мысли и во всякой творческой работе на первой, начальной ступени, когда мысль еще только зарождается и формируется. Писатель продолжал размышлять над теми же вопросами и впоследствии, привлекая новые факты и соображения. При этом многое из мыслей и оценок, зафиксированных в первоначальных записях, получало иную, более зрелую формулировку, а иногда и отбрасывалось вовсе как не соответствующее окончательным, итоговым выводам. Таким образом, для того, чтобы правильно оценить ту или иную черновую запись, содержащуюся в записной тетради, нужно всегда учитывать весь ход дальнейшего развития мысли Достоевского (отраженный в других, позднейших рукописях, а также в законченных писателем художественных произведениях и статьях) — с целью всесторонней оценки места и значения данной записи. Лишь в результате подобного подхода мы можем определить, получили ли выражение в интересующей нас черновой записи мысль или намерение, имевшие существенное, важное значение для писателя в процессе дальнейшего их обдумывания, или же, напротив, они были позднее пересмотрены и отброшены. Без этого обращение к записным тетрадям Достоевского может легко оказаться столь же бесплодным, сколь оно будет полезным и плодотворным для исследователя, исходящего из правильной оценки назначения и самого характера заметок Достоевского в его записных книжках и тетрадях, — исследователя, учитывающего «рабочий», предварительный характер этих заметок, зачастую сделанных романистом в процессе уяснения вопроса самому себе и предназначенных служить материалом для дальнейшего, более всестороннего и углубленного размышления.

2

В научной литературе о Достоевском уже не раз отмечалось своеобразие его записных книжек и рабочих тетрадей и давалась общая их характеристика⁶. Одна из особенностей записных книжек и тетрадей Достоевского — пестрота и разнообразие их содержания, другая — своеобразная «чересполосица», образовавшаяся в результате столкновения на одних и тех же страницах разновременных и разнохарактерных записей. Достоевский вносит в одну и ту же тетрадь весьма несходные по тематике, по характеру и назначению заметки и наброски. Поэтому в одних и тех же записных книжках 1860-х годов мы найдем и заготовки творческого порядка, и планы будущих статей, и просто

отрывочные заметки, сделанные впрок, для памяти, и, наконец, деловые записи, относящиеся к изданию «Времени» и «Эпохи». Точно так же в рабочих тетрадях 1870-х и 1880-х годов мы встретим рядом с записями, предназначенными для «Дневника писателя», планы неосуществленных художественных произведений, автобиографические заметки, разрозненные мысли, афоризмы и другие материалы.

Самая ранняя из записных книжек Достоевского, публикуемых в настоящем томе, относится к 1860—1862 гг., т. е. ко времени издания М. М. и Ф. М. Достоевскими журнала «Время». Из художественных текстов она содержит заметки к «Запискам из Мертвого дома», несколько записей к «Скверному анекдоту» и наброски, предназначенные для задуманной, но не доведенной до конца переработки «Двойника», продолжающиеся во второй, хронологически следующей книжке 1862—1864 гг. Последняя группа материалов, как указывалось выше, была опубликована в 1927 г. Р. И. Аванесовым в его исследовании «Достоевский в работе над „Двойником“». В настоящем томе материалы данной тетради впервые печатаются полностью, с исправлением неточностей и ошибок, допущенных в прежних публикациях.

Названные черновые записи, относящиеся к художественным произведениям Достоевского, занимают сравнительно небольшую часть записной книжки. Остальные ее страницы заполнены заметками, относящимися не к художественным замыслам Достоевского, а к его литературно-критическим и публицистическим статьям и к программным материалам журнала «Время».

Возвратившись в конце 1859 г. в Петербург, Достоевский вскоре становится идейным руководителем и фактическим редактором «Времени», издававшегося с января 1861 по апрель 1863 г. старшим братом писателя М. М. Достоевским. Кроме братьев Достоевских, ближайшими сотрудниками журнала были Аполлон Григорьев, Н. Н. Страхов, А. Н. Майков, Я. П. Полонский, В. В. Крестовский. Во «Времени» были помещены «Записки из Мертвого дома» (1861—1862), роман «Униженные и оскорбленные» (1861), «Скверный анекдот» (1862), «Зимние заметки о летних впечатлениях» (1863), а также значительное число имевших для журнала программное значение литературно-полемических статей Достоевского и написанных им редакционных заметок.

Свою позицию в общественной борьбе периода демократического подъема начала 1860-х годов Достоевский сформулировал в написанных им «Объявлениях об издании „Времени“» и в серии статей, печатавшихся на страницах журнала (наиболее важные из них — «Ряд статей о русской литературе», 1861; «Два лагеря теоретиков», 1862). Центральной идеей, выдвинутой Достоевским во «Времени», была идея «почвы». Петровская реформа, утверждал Достоевский в своих статьях, была для России исторической необходимостью, так как старая московская Русь изжила себя. Она переживала уже до Петра серьезный кризис. Но преобразования Петра были навязаны народу деспотически, насильственно, а потому имели свою вредную сторону. Они вырыли пропасть между высшими, правящими классами и народом, привели к мучительному и болезненному отрыву культуры образованных слоев от народной «почвы». Отрыв этот до определенного времени был исторически оправдан тем, что русской интеллигенции нужно было принять в себя наследие многолетнего развития европейской мысли, стать полноправной участницей движения общечеловеческой культуры и образованности. Но после того как результат этот был достигнут, задача образованной России, по мысли Достоевского и других сотрудников «Времени», состояла в том, чтобы преодолеть вековой разрыв с народом, сблизиться и соединиться с ним — возвратиться к родной «почве». Образованные классы должны научить народ грамоте, передать ему накопленные ими культуру и образование, содействовать уничтожению сословных перегородок, а сами взамен получить сохраненные народом и утраченные ими «почвенные» начала — нравственную стойкость, высокие идеалы общественной жизни, правды и справедливости.

Иаложенная историко-философская концепция Достоевского эпохи «Времени» делала его в решении основных вопросов современной русской общественной жизни антагонистом революционной демократии 60-х годов. Чернышевский и Добролюбов исходили в своей оценке перспектив общественного развития из понимания непримиримой противоположности интересов господствующих классов интересам народных масс. Поэтому они сумели еще в годы до проведения крестьянской реформы гениально

понять, что подготовляемое правительством «освобождение» неизбежно будет отвечать интересам помещиков, подлинное же освобождение народа может явиться лишь результатом демократической, крестьянской революции. В противоположность этому в основе «почвеннических» идей Достоевского лежало ложное, в конечном счете — реакционное по своему историческому содержанию, утопическое представление о возможности примирения противоположных сословий и классов русского общества. Идеализируя, подобно либералам 60-х годов, самодержавие и крестьянскую реформу 1861 г., Достоевский в своих статьях во «Времени» утверждал, что реформа может положить в России начало сближению сословий, которое должно привести в дальнейшем дворянство и народ к духовному единению и братству. Опираясь на славянофилов, Достоевский пропагандировал мысль, что духовная связь между высшими классами и народом в России никогда не утрачивалась, в отличие от Западной Европы. В этом он видел преимущество исторического развития России перед Западом, преимущество, которое облегчит ей разрешение социальных антагонизмов не по западноевропейскому образцу — путем борьбы и революционных кризисов, — но путем примирения, духовного воссоединения господствующих классов и народа.

Полагая, что в России в противоположность западноевропейским странам не может возникнуть «взаимной вражды сословий», Достоевский доказывал, что особенность эта «заложена самой природой в духе русском, в идеале народном». Подобное отрицание объективной противоположности интересов народа и господствующих классов, стремление противопоставить отвлеченно понятые национальные начала социальной борьбе приближали Достоевского к позиции славянофилов и определяли его глубокое расхождение с революционным лагерем.

Призывая к «всеобщему духовному примирению» сословий, Достоевский и другие сотрудники «Времени» пытались взять на себя роль посредников между либералами и демократами 60-х годов, между славянофилами и западниками. Они утверждали, что журнал их открывает путь к взаимному сближению и примирению партий. На деле, однако, стремление встать выше общественной борьбы, выше противоположных, сталкивающихся идей и направлений неизбежно вело, в конечном счете, к поддержке реакции. Это и доказала та позиция, которую «Время», хотя и не сразу, но постепенно заняло в литературно-общественной борьбе 1860-х годов.

В своих полемических выступлениях, направленных против «Русского вестника» М. Н. Каткова, Достоевский не раз высказывался в 1861—1862 гг. за свободу печати, защищал от нападок Каткова добролюбивский «Свисток», отражал нападки его журнала на прогрессивную журналистику и демократическую молодежь. Но уже в первых номерах «Времени» Достоевский недвусмысленно заявил и о своем решительном, принципиальном, расхождении с идеями «Современника» и его руководителей, продолжая еще более резко подчеркивать это расхождение в дальнейшем. Уже с середины 1861 г. во «Времени» появляются статьи Н. Н. Страхова, направленные против материализма и всей системы революционно-демократических идей «Современника». В последующие годы полемика «Времени» с «Современником» и «Русским словом» принимает еще более упорный, резкий и ожесточенный характер⁷.

Записная книжка 1860—1862 гг. содержит новый важный материал, освещающий замыслы Достоевского-публициста и уточняющий наше представление о его отношении к позиции «Современника» в эти годы.

Несомненный интерес и внимание исследователей привлекают, прежде всего, сделанные на первых ее страницах отрывочные записи, говорящие о том, что уже в 1861—1862 гг. Достоевский вынашивал замыслы статей, посвященных не только литературно-общественным вопросам, но и более широким темам, к публицистической разработке которых он обратился значительно позднее, в 70-е годы, в период редактирования «Гражданина» и издания «Дневника писателя». Таковы записи «Ряд статей о судах», «Аномалии Европы и России», «Что значит Рим для папы», «Мысль о назначении России в Азии и о ее естественных пределах». Заметки эти свидетельствуют, по-видимому, о желании Достоевского выступить в дальнейшем на страницах журнала со статьями по вопросам как внешнеполитического, так и внутриполитического («Ряд статей о судах») характера. Подтверждением этого намерения является то, что в тетрадах 1864—1865 гг.

мы найдем планы и наброски, развивающие эту идею. Тем не менее замыслы статей на международные и внутриполитические темы не получили в данный период осуществления и отражены лишь в виде беглых и отрывочных заметок. Более богатый и конкретный материал для суждения о неосуществленных замыслах Достоевского дает записи, относящиеся к планам литературно-критических статей того же времени.

Выше уже упоминался занявший центральное место в литературно-критическом отделе «Времени» в первый год существования журнала принадлежащий перу Достоевского «Ряд статей о русской литературе». Этот широко задуманный цикл (печатавшийся с января по ноябрь 1861 г.) явился развернутым выражением программы журнала, а также изложением отношения «Времени» к основным вопросам современной борьбы в литературе и журналистике.

Кончая в первом номере «Времени» введение к «Ряду статей о русской литературе», Достоевский писал, что в будущей статье он, после затянувшегося введения, перейдет, наконец, и к «русской литературе», будет говорить о «теперешнем ее положении» и «ее значении в теперешнем обществе». Но обещание это было выполнено автором в дальнейших статьях лишь частично. Посвятив вторую статью цикла полемике с Добролюбовым о задачах современной критики и изложению своих эстетических идей в связи с анализом переведенных И. С. Тургеневым «Народных рассказов» М. А. Марко Вовчок и их оценкой в статье Добролюбова «Черты для характеристики русского простонародья», Достоевский в следующих статьях перешел к полемике с «Русским вестником», с «Отечественными записками» и со славянофильской газетой «День» по вопросу о народном чтении и шире — об отношении литературы к народу. Обещанная же характеристика состояния «теперешней» русской литературы не нашла себе места в этих дальнейших статьях в связи с изменившимся составом цикла.

Из записной книжки Достоевского 1860—1862 гг. мы узнаем о темах статей писателя, задуманных в качестве продолжения цикла «Ряд статей о русской литературе», но оставшихся неосуществленными. Это, во-первых, статья о «нашей теперешней литературе и нашей теперешней публике» и, во-вторых, несколько очерков, в которых должна была, по мысли Достоевского, рассматриваться «идея нашей литературы» начиная с Гоголя. Один из них, как видно из записей Достоевского, должен был получить название «Гоголь и Островский».

В качестве заготовки для задуманной статьи под этим названием мы находим в книжке заметку о героях комедии «Не в свои сани не садись». Подобно Аполлону Григорьеву, Достоевский увидел в этой комедии не картину нравов в одном из уголков всероссийского «темного царства» (так истолковал ее смысл Добролюбов в своем известном цикле статей об Островском), но «анализ русского человека», изображенного со свойственным ему «высоким целомудрием» и «чистым сердцем».

В отличие от статей о Гоголе и Островском, статья о «нашей теперешней литературе и нашей теперешней публике» была не только задумана Достоевским, но и начата им. Об этом свидетельствуют записи конца 1861 г. (или начала 1862 г.). Они содержат не только подробный план этой статьи (стр. 126 настоящ. тома), но и ряд относящихся к ней черновых набросков.

Из плана видно, что Достоевский намеревался дать в статье «портреты публики» и «портреты литераторов» с целью выяснить «кто кого опередил?»: публика литературу или литература публику (по-видимому, автор склонялся ко второму ответу на этот вопрос). Далее в плане намечена полемика с «Русским вестником» Каткова, с бывшим петрашевцем и старым знакомцем Достоевского А. П. Милоковым, печатавшимся в 1860—1862 гг. в журнале «Светоч»⁸, и с «Современником», в частности, со статьями Н. А. Добролюбова (запись: «Пирогов») и Н. Г. Чернышевского (запись: «Чернышевск<ий>» — недавняя полемика. Что есть истинность в „Современнике“»). Заметками, относящимися к намеченному последнему разделу статьи, который должен был быть посвящен критическому разбору статей Добролюбова и Чернышевского и выяснению причин расхождения Достоевского с ними, заполнена значительная часть книжки.

Как свидетельствуют наброски Достоевского, непосредственным поводом, побудившим его к работе над неосуществленной полемической статьей против Чернышевского и Добролюбова, было появление в декабрьской книжке «Современника» 1861 г. статью

М. А. Антоновича «О почве (не в агрономическом смысле, а в духе, Времени!)». Достоевский в записной книжке не называет этой статьи Антоновича прямо, но в одном из набросков, помеченном как «начало» (полемических заметок против «Современника») он пишет: «Вы начали первый. Мы начинать не хотели, хотя давно уже сердилились. Но вы были нам дороги, мы вам сочувствовали, и мы решились лучше молчать, хотя я уж и не знаю, как у нас иногда щемило в душе, читая ваше шутство... Но теперь вы начали, и теперь мы очень желали бы высказать вам все...» (стр. 150).

Приведенное «начало» задуманных Достоевским полемических заметок свидетельствует, что они были предназначены, по мысли автора, служить ответом на выступление «Современника» против «Времени». Первым таким выступлением и была статья Антоновича, помещенная в декабрьской книжке «Современника» за 1861 г. Как давно уже установленно исследователями, эта статья Антоновича послужила прологом к длительной идейной полемике между «Современником» и журналом братьев Достоевских.

Следует заметить, что, упрекая редакцию «Современника», что она «начала первая», Достоевский был не вполне прав. Выход в свет первого номера «Времени» редакции «Современника» приветствовала весьма сочувственной рецензией Чернышевского. Между тем, уже во второй книжке «Времени» была помещена статья Достоевского «Г. — бов и вопрос об искусстве», критиковавшая ряд методологических принципов Добролюбова и его оценку задач современной литературы. В июньской книжке 1861 г. «Время» поместило статью Н. Н. Страхова «Еще о петербургской литературе», в которой Страхов резко обрушился на статью Чернышевского «О причинах падения Рима», квалифицируя позицию Чернышевского как «отрицание истории». В следующих номерах «Времени» были помещены статьи Страхова «Нечто о полемике» (№ 8), «Об индюшках и о Гегеле» (№ 9) и «Литературные законодатели» (№ 11), также содержавшие полемические выпады против «Современника». Таким образом, «первым» полемик начал не «Современник», а «Время»⁹. Однако до появления статьи Антоновича полемика «Времени» с «Современником», хотя на деле отражала расхождение принципиального, программного характера, формально касалась частных вопросов. Появление статьи Антоновича явилось переломным пунктом в отношении между «Современником» и журналом Достоевских. На многочисленные полемические выпады «Времени» в течение всего 1861 г. «Современник» в конце его ответил не возражениями по частным вопросам, но выступил с принципиальной общественно-политической оценкой самой программы «Времени», его направления, сформулированного в статьях Достоевского и других руководящих материалах журнала. В статье «О почве» Антонович поставил перед собою цель показать, что призывы редакции «Времени» к сближению с «почвой» на деле скрывали под собой весьма гуманную и умеренную общественную программу, ничем существенно не отличающуюся от программы либералов 60-х годов, так как путь к сближению с народом редакция «Времени» видела не в революционном преобразовании общества, а в распространении «книжности и грамотности». Теоретическую платформу «Времени», призыв Достоевского к мирному примирению народа и высших классов Антонович охарактеризовал как филантропическую, бессодержательную утопию, как набор прекрасноречивых фраз, мешающих революционному просвещению народа.

Этот принципиальный характер статьи Антоновича, перенесший центр тяжести полемики между «Современником» и «Временем» с вопросов второстепенных и частных к основным вопросам программы и политической тактики обоих журналов, и вызвал, по-видимому, у Достоевского желание ответить Антоновичу и при этом дать развернутое изложение основных пунктов своей программы, критически противопоставленной позиции «Современника». Осуществлением этого замысла явились, как можно полагать, дошедшие до нас многочисленные наброски в записной книжке Достоевского 1860—1862 гг. Они сделаны в процессе обдумывания будущей статьи и могут рассматриваться как первоначальная, черновая разработка отдельных ее частей.

Достоевский избирает в качестве главной мишени своей полемики с руководителями «Современника» опубликованные в 1861 г. статьи Чернышевского «Полемические красоты» («Современник», 1861, №№ 6 и 7) и статью Добролюбова «Из дождя да в воду» («Современник», 1861, № 8). Кроме того, наброски в записной книжке содержат возражения, направленные против других выступлений Чернышевского и Добролю-

бова, опубликованных в «Современнике» с весны по осень 1861 г. и определявших программу и тактику журнала в этот период. Это — статья Чернышевского «О причинах падения Рима» («Современник», 1861, № 5), «Граф Кавур» (там же, № 6) и написанный им некролог Добролюбова (там же, № 11), а также статья Добролюбова «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» («Современник», 1861, № 6). Попутно Достоевский обращается и к более ранним сочинениям обоих руководителей «Современника» — к эстетической диссертации Чернышевского и статье Добролюбова «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» («Современник», 1860, № 1), тесно связанной по содержанию со статьёй «Из дождя да в воду», и т. д.

В заметках для статьи против «Современника» Достоевский исходит из своего, уже известного нам убеждения, что между обществом и народом в России существует глухая стена почти двухсотлетнего исторического разъединения и взаимного непонимания. Образованные слои не знают народа и его потребностей, народ же не верит «фрагментам», не понимает, что среди них «не все» плантаторы, но «есть люди, ему сочувствующие» (стр. 156). Поэтому задачей литературы, по Достоевскому, является не подготовка общества к революции, но поиски путей «соединения с народом», «спасение единства». Важнейшее средство, ведущее к ним, — забота об образовании и грамотности народа.

Из этой общей оценки исторической ситуации, сложившейся после реформы, Достоевский делает два главных вывода. Руководители «Современника» не хотят ждать того времени, когда народ, получив от высших классов «образование» и «грамотность», скажет «свое слово». Не ожидая будущего народного слова, они стремятся активно воздействовать на народ, внести в его сознание революционные и социалистические идеалы, выработанные Западом. Отвергая эту позицию, Достоевский характеризует ее как проявление «самоуверенности» руководителей «Современника», их преувеличенной веры в идеалы «цивилизации», которую они ставят «над народом».

Отдавая должное уму и таланту Чернышевского и Добролюбова, Достоевский тем не менее утверждает, что руководители «Современника» — люди отвлеченной теории, рационалисты, взгляды которых имеют не живой, но «книжный» характер. Как и другие представители образованных классов, они не знают народа, судят о нем «свысока». Преобладание холодного рассудка, одностороннее увлечение идеалами «цивилизации» порождают у них недоверие к нравственно-религиозным устремлениям народа, выработавшимся под влиянием его многовекового исторического существования, устремлениям, которым сам Достоевский приписывал решающую роль для определения настоящего и будущего народных масс и всей России.

Другое возражение, выдвигаемое Достоевским против революционной программы «Современника», состоит в том, что Чернышевский и его единомышленники слишком «торопятся», между тем как «общество наше решительно ни к чему не готово. Вопросы стоят перед нами. Они созрели, они готовы, но общество <...> не готово» (стр. 126). Ибо «всякое общество может вместить только ту степень прогресса, до которой оно доразвилось и начало понимать» (стр. 176).

После реформы в России входит в жизнь «сознательная масса». «Мы накануне нового поколения» (стр. 127), — и именно к нему обращается теперь русская литература. Задача ее состоит в воспитании в этом поколении серьезного, глубокого отношения к вопросам общественной жизни, науки, литературы и искусства.

Между тем, увлекаясь революционными, но утопическими, «книжными», по оценке Достоевского, идеалами, руководители «Современника» неверно ориентируют молодежь, которая «горячо, с чувством, с сердцем бросается за крайними вождями» и «им верит». «Ведь нельзя же все отрицать. Надо ведь и об чем-нибудь сказать положительно, высказывать энтузиазм кому-нибудь...» (стр. 144). «Современник» же склонен, по оценке писателя, «все отрицать». Так слишком резкая полемика Чернышевского и Добролюбова, направленная против «авторитетов», разрушает веру также и в тех немногих истинно честных и достойных представителей русского общества, к которым журналистике следует воспитывать уважение в читающей публике, уча ее на примере таких деятелей честности и строгому отношению к своим общественным обязанностям. В этой связи Достоевский специально останавливается на статьях Добролюбова «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» и «Из дождя да в воду». В них Добролюбов резко крити-

ковал Н. И. Пирогова, который (вступив в противоречие с идеями реформы школы, изложенными в прежних его статьях) на посту попечителя Киевского учебного округа, под давлением правительственной бюрократии и реакционной части учительства, санкционировал применение розги в киевских гимназиях. Достоевский усмотрел в статьях Добролюбова самолюбивое желание во что бы то ни стало принизить противника, не считаясь с огромными заслугами Пирогова, а вместе с тем — стремление зачеркнуть авторитет крупного прогрессивного общественного деятеля из-за одной ошибки, не дающей основания для пересмотра общей положительной оценки его деятельности.

Нетрудно видеть, что в вопросах, поднимаемых Достоевским, историческая правда была на стороне Чернышевского и Добролюбова, а не Достоевского. Заметки Достоевского подтверждают тот факт, что, как справедливо указали Щедрин и Антонович, в своей оценке исторической ситуации 60-х годов и в своей политической программе Достоевский в эпоху «Времени» оказался объективно не на стороне революционных демократов, а на стороне их идейных противников.

В статье «О почве» Антонович отчетливо выяснил иллюзорность надежд Достоевского на распространение в народе «книжности» и «грамотности» при существующей нищете и порабощении народных масс. Для того чтобы помочь народу получить образование, писал Антонович, мало составить для него азбуку и читальник. Для этого нужно, прежде всего, освободить его от помещичьего гнета, облегчить его экономическое положение и этим дать ему реальную возможность образования. Поэтому лучшая часть «образованного меньшинства», утверждал Антонович, не должна «сидеть и ждать у моря погоды», но обязана действительно бороться за улучшение социально-экономического положения и благосостояния широких масс¹⁰. Вследствие непонимания теснейшей связи между вопросом об «образовании», о моральном и культурном подъеме народа и революционной борьбе, надежды Достоевского и других сотрудников «Времени» на «образование» народа оказывались на деле бессильным пожеланием, реакционной утопией, которая мешала Достоевскому видеть реальный путь, ведущий к освобождению народа.

Неправ был Достоевский, как показала дальнейшая история русского общества, и в своей критике руководителей «Современника» за резкость их нападок на либералов.

Чернышевский и Добролюбов исторически правильно оценивали ситуацию, сложившуюся в России начала 60-х годов как ситуацию, таящую в себе возможность революционного взрыва. Они исходили из возможности в России революции и стремились своими статьями воспитать деятелей, способных возглавить революционное выступление народа. Отсюда, с одной стороны, пропаганда ими революционной тактики, а с другой, — неустынное разоблачение либеральной программы соглашения с самодержавием, либеральных взглядов и иллюзий.

Достоевский, напротив, в статьях 1860-х годов отвергал возможность революции в России, выражая при этом сомнение в идее демократических и социалистических преобразований. Он призывал передовые круги русского общества стремиться не к революционным действиям, не к борьбе с самодержавием, а к укреплению внутреннего «единства», к прекращению междоусобных «раздоров». Отсюда и вытекали его упреки по адресу Чернышевского и Добролюбова в «недопустимой» резкости их критики либеральной науки и публицистики, стремление способствовать объединению всех «честных людей», без различия политических взглядов и направлений. Эта программа Достоевского, делавшая его в политической борьбе 60-х годов не союзником «Современника», а его противником, отчетливо отражена в его записных книжках.

Достоевский был неправ, приписывая Добролюбову самолюбивое желание «уронить» авторитет Пирогова. Статья Добролюбова была направлена не против Пирогова — человека, ученого и общественного деятеля, а против тех нравственных компромиссов и сделок с собственной совестью, которые, как стремился показать Добролюбов на примере великого хирурга, были неизбежны для всякого деятеля — крупного или мелкого, — поскольку он в своей практической деятельности становился на почву «реальной» политики. Отвергая либеральную тактику соглашения с царской монархией, Добролюбов не только призывал русское общество к иной, революционной тактике, — он стремился воспитать в своих последователях неколебимую верность своим убеждениям, привить глубокое презрение ко всяким нравственным колебаниям

и компромиссам. Таким образом, в основе статей Добролюбова лежал именно тот нравственный пафос, горячий энтузиазм в утверждении идеи патриотического долга, высокое понимание роли общественного деятеля и его ответственности перед народом, в забвении которых Достоевский был склонен несправедливо обвинять Добролюбова и его единомышленников.

Думается, не случайно поэтому, несмотря на запальчивый тон заметок и набросков, направленных против «Современника», задуманный ответ Антоновичу не был завершен Достоевским. Вместо статьи Достоевского в качестве ответа Антоновичу во «Времени» была помещена статья Страхова «Пример апатии» («Время», 1862, № 1). Сам же Достоевский вместо задуманной статьи выступил в февральской книжке «Времени» с другой статьей «Два лагеря теоретиков», имеющей иной, более примирительный характер. Попытавшись заново изложить здесь программу «Времени», Достоевский под влиянием критики Антоновича внес в нее по сравнению со статьями 1861 г. ряд новых моментов. Кроме требования «распространить в народе грамотность», Достоевский сформулировал теперь более четко свое основное социальное требование — «облегчить общественное положение нашего мужика уничтожением сословных перегородок». Указывая на «раскол» и на «общинный быт», Достоевский доказывал, что «народ наш способен к политической жизни», призывал дать простор его «свежим силам»¹¹. Критикуя взгляды «теоретиков» «Современника», с одной стороны, и славянофилов, с другой, Достоевский отказался от раздраженного тона своих первоначальных набросков, от возражений на те статьи Добролюбова и Чернышевского, на которые он ссылается в записной книжке.

На колебания Достоевского, предшествовавшие началу его журнальной полемики с «Современником», бросает дополнительный свет следующее любопытное обстоятельство.

В апрельской книжке «Времени» 1862 г. напечатана вместо статьи Достоевского обширная анонимная рецензия на собрание литературных и литературно-педагогических статей Н. И. Пирогова¹². Последние десять страниц этой рецензии (стр. 16—26) почти целиком посвящены вопросу об инциденте, послужившем предметом статей Добролюбова против Пирогова. Причем оценка этого инцидента и статей Добролюбова во «Времени» иная, чем в более ранних заметках Достоевского в его записной книжке.

«Признавая г. Пирогова за одного из лучших наших общественных деятелей, — пишет «Время», — мы во имя той же правды и добра, о приложении которых к нашему воспитанию и образованию он так много хлопочет, не признаем его вполне безукоризненным деятелем. Что его убеждения вполне благородны и честны, об этом мы упоминали уже несколько раз; но что он остался совершенно верен им на практике, этого мы не скажем, может быть именно из уважения к г. Пирогову. Читатели, вероятно, уже догадались, о чем мы хотим говорить. Им, конечно, неизвестна история розог, подавшая повод к „Северосийским иллюзиям, разрушаемым розгами“». Статья эта была бесспорно желчна, горяча, по была ли она в сущности несправедлива, — это вопрос¹³.

И далее анонимный автор заключает, оценивая деятельность Пирогова: «Никакая среда, никакие обстоятельства не должны заставлять человека делать уступки, если только он хочет быть верным своим убеждениям»¹⁴. К этой же мысли журнал возвращается в конце статьи:

«Итак при всем нашем уважении к личности г. Пирогова, к делу, которое он сделал делом своей жизни, ко многому, уже сделанному им, мы должны сказать, что и он, составив кодекс наказаний, установивший между прочим и телесные наказания, все-таки остался неправым пред своими убеждениями. Мы не прочь от того, что обстоятельства заставили г. Пирогова внести в свой кодекс такие вещи, которых он не признавал в принципе. Готовы согласиться и на то, что круг его власти был не настолько велик, чтобы заставить согласиться своих сослуживцев с своими убеждениями и что если бы он захотел *заставить*, то это было бы деспотизмом с его стороны, притязание на свою личную непогрешительность. Все это так. Но ведь никто же и не заставлял г. Пирогова принять на себя роль оратора и защитника *не своих* взглядов, никто не заставлял пустить их в дело от своего собственного мнения и поддержать их состоятельность собственным авторитетом. Повторяем, что мы готовы признать (и действительно признаем) в г. Пирогове честного и благородного деятеля, энергичного бойца. Но признаем его вовсе не потому, что он с киевскими педагогами ввел кодекс наказаний по киевским

гимназиям и между прочим признал на факте необходимость телесных наказаний, потому только, что их трудно заменить для сеченных дома детей чем-либо другим. Тут мы видим только уступку обстоятельствам, может быть не совсем и *нужную*, — факт страшной неподатливости среды, толстую рутинную кору, которую не может пробить сила одной, хотя бы и энергичной личности. Поэтому хвалить особенно за этот факт мы не чувствуем в себе особенного расположения. Репутацию честного и благородного деятеля г. Пирогов приобрел далеко не подобными вещами»¹⁵.

Приведенная оценка Пирогова и статьи Добролюбова «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами», данная рецензентом «Времени», свидетельствует о том, что редактор журнала к апрелю 1862 г. в известной мере пересмотрел свою первоначальную позицию и был готов отдать должное Добролюбову, осудившему уступку Пирогова реакции (хотя политический смысл статей Добролюбова, связавшего «уступку» Пирогова с критикой либерализма и либеральной тактики компромисса с самодержавием, не был теперь, как и раньше, созвучен программе Достоевского). Известную роль здесь могла сыграть смерть Добролюбова в конце 1861 г., заставившая Достоевского вернуться к общему осмыслению его критической деятельности, что привело к изменению и прежней оценки его статей о Пирогове¹⁶.

Вторая группа текстов 1860-х годов, входящих в настоящую публикацию, относится к периоду с 1863 по 1865 г. Это, во-первых, записная книжка 1862—1864 гг.¹⁷, а во-вторых, датируемые 1864—1865 гг. записи тех двух рабочих тетрадей, из которых И. И. Гливенко были извлечены и опубликованы в 1931 г. черновые материалы к «Преступлению и наказанию»¹⁸. В настоящем томе печатаются опущенные Гливенко записки из двух названных тетрадей, не связанные с текстом романа.

В апреле 1863 г. «Время» было запрещено за помещение статьи Н. Н. Страхова «Роковой вопрос», посвященной польскому восстанию. Статья Страхова не была антиправительственной: исторические взаимоотношения России и Польши освещались в ней с точки зрения славянофильской философии истории, суть которой сжато выражена в одной из публикуемых записей Достоевского: «Польская война есть война двух христианств — это начало будущей войны православия и католичества, другими словами — славянского гения с европейским» (стр. 186). Доказывая превосходство православия над католицизмом, России — над Западом, Страхов давал на этом основании отрицательную характеристику польского национального освободительного движения и высказывался за поддержку политики самодержавия в Польше. И все же в атмосфере, раскаленной польским восстанием 1863 г., попытка исторического рассмотрения польского вопроса и более сложная трактовка его по сравнению с той, которая давалась в официальных статьях и документах, уже сами по себе показали властям и цензуре проявлением недопустимого вольномыслия. Этим была вызвана неожиданная для братьев Достоевских враждебная реакция издателя «Московских ведомостей» М. Н. Каткова и правительственных сфер на статью Страхова.

В результате длительных хлопот братья Достоевские получили разрешение на издание с 1864 г. нового журнала «Эпоха». После смерти М. М. Достоевского (10 июля 1864 г.) Ф. М. Достоевский один продолжал издание этого журнала до февраля 1865 г., когда был вынужден прекратить выпуск «Эпохи» из-за долгов и отсутствия материальных средств, необходимых для продолжения журнала.

Позиция «Эпохи», выходившей в иной обстановке, чем «Время», после спада волны общественного подъема 1861—1863 гг., в условиях расправы победившей реакции над силами освободительного движения, во многом отличалась от позиции «Времени». «Время», выступая с критикой революционно-демократической программы «Современника», тем не менее по ряду вопросов общественной жизни (оценка крестьянской реформы, вопрос о судах и т. д.) занимало позицию, близкую к позиции либеральной, а порой — и демократической журналистики тех лет. В «Эпохе» же отразилась следующая ступень эволюции политических и философских воззрений Достоевского. После того как революционная ситуация начала 60-х годов ускорила процесс размежевания противоположных политических взглядов и направлений, Достоевский в условиях наступившей реакции переходит к все более резким возражениям идеологам русского революционного движения 1860-х годов. Эта ступень политической эволюции Достоев-

ского нашла отражение в его художественных произведениях, опубликованных на страницах «Эпохи» («Записки из подполья», «Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже»), а также в его статьях 1864—1865 гг., главным содержанием которых была полемика со Щедриным, продолжавшим в «Современнике» линию Чернышевского и Добролюбова. Она запечатлена и в публикуемых ниже рукописных материалах.

Из творческих материалов писателя в записной книжке 1862—1864 гг. мы находим продолжение планов и набросков, связанных с замыслом переработки «Двойника», а в рабочих тетрадях 1864—1865 гг. — упоминавшиеся выше черновые материалы к «Крокодилу». Кроме того, здесь содержатся отрывочные заметки к роману «Пьяненькие» (работа над которым была впоследствии оставлена Достоевским в связи с началом работы над новым, более обширным замыслом — «Преступлением и наказанием», где основная тема «Пьяненьких» нашла свое продолжение в наброске Мармеладова), заготовки и наброски для сатирико-пародийных и юмористических стихотворений («Фанданго», «Офицер и нигилистка»). Узнаем мы и название одного из неосуществленных замыслов Достоевского — «Кашкадамов».

Значительное место среди публикуемого ниже материала занимают также черновые заметки и наброски, связанные с работой над статьями Достоевского для «Эпохи» — с направленной против Краевского и его либеральной газеты «Голос» статьей «Каламбуры в жизни и литературе» (1864) и циклом полемических статей Достоевского, написанных в ответ на выступления публицистов «Современника» — Салтыкова-Щедрина и Антоновича («Необходимое заявление», «Чтобы кончить. Последнее объяснение с „Современником“» (1864) и др.). В тетрадях содержатся также многочисленные деловые записи, связанные с изданием «Эпохи» (планы ее номеров, денежные расчеты и т. д.).

Заметки и наброски в тетрадях 1864—1865 гг. отчетливо отражают реакционный характер общественно-политической позиции Достоевского, определившейся в период издания «Эпохи». В них содержатся многочисленные полные раздражения отзывы о «Современнике», о Чернышевском и Щедрине, о Писареве, Зайцеве, Антоновиче, демократической литературе и публицистике 60-х годов в целом. Яростная полемика с «теоретиками», «белоаравовцами», «нигилистами», с революционно-демократическими и социалистическими идеями находится в центре публицистических заметок и набросков, занесенных в эти тетради. Ею же насыщены и находящиеся здесь художественные наброски, в особенности — черновые записи к «Крокодилу». Не только революционно-демократический лагерь, но и представители либерального направления в литературе, общественной мысли, журналистике 1860-х годов подвергаются нападкам Достоевского. В борьбе с ними он вырабатывает и формулирует свою литературно-эстетическую и общественно-политическую программу.

Идейная борьба и полемика между «Современником» и «Эпохой» не раз служили предметом специального научного рассмотрения¹⁰. Публикуемые заметки и заготовки к публицистическим статьям Достоевского вносят в уже известную картину этой борьбы ряд моментов, дополняющих и уточняющих наше представление об отдельных ее перипетиях. В частности, сопоставление черновых записей Достоевского с текстом статьи «Чтобы кончить», заключившей полемику «Эпохи» со Щедриным и Антоновичем, документально доказывает, что эта анонимная статья (включенная Б. В. Томашевским в 1930 г. в Собрание сочинений Достоевского на основании свидетельства Страхова) действительно принадлежит перу Достоевского.

Большой интерес представляют содержащиеся в рабочих тетрадях 1864—1865 гг. план «политической статьи», посвященной темам международной политики и вопросам внешнеполитического положения России, заметки о судах и адвокатуре в связи с подготовкой судебной реформы. Записи эти подтверждают сделанный выше, на основании содержания записной книжки 1860—1862 гг., вывод о том, что Достоевский в первой половине 60-х годов вынашивал мысль о статьях на обе указанные темы. Высказанные в набросках «политической статьи» мысли о восточном вопросе, об опасности растущего прусского милитаризма, о стремлении папского престола укрепить католицизм путем заигрыванья с «социальными идеями», с «революционерами и социалистами» влютную подводят нас к идеям позднейшей внешнеполитической публицистики Достоевского периода «Дневника писателя».

В письме к племяннице С. А. Ивановой 11 октября/29 сентября 1867 г. из Женевы Достоевский, развивая перед нею план будущего «Дневника писателя», писал, что подобный замысел возникал у него уже и раньше²⁰. Свидетельство это подтверждается рабочими тетрадями 1864—1865 гг. Страницы одной из них заполнены расчетами, связанными с проектом издания «Записной книги» — журнала, который должен был, по мысли писателя, весь, по-видимому, составляться им одним, без участия других сотрудников, и содержать статьи на темы, непосредственно связанные со «злостью дня». Замысел этот непосредственно предвосхищает будущий «Дневник».

Кроме черновых набросков, связанных с работой над законченными и опубликованными полемическими статьями для «Эпохи», мы встречаем в тетрадях Достоевского заметки, отражающие названия и замыслы статей на общественно-литературные темы, оставшиеся неосуществленными. Это — план статьи о «современных направлениях» — западниках, славянофилах и «реалистах» (в писаревском смысле слова), наброски для статьи «Ответ „Современнику“» (замысел которой частично совпадает со статьей Достоевского «Необходимое заявление») и заметки для статьи о «нигилистических романах», резко враждебные по отношению к демократической беллетристике 60-х гг.

Борясь с революционно-демократическими идеями «Современника», Достоевский не ограничивается критикой этих идей. Он стремится в записных тетрадях уяснить и сформулировать для себя основные пункты собственного философского, религиозного, общественно-исторического мировоззрения. С этой точки зрения тетради первой половины 1860-х годов представляют для исследователя творчества Достоевского особую ценность: изучая их, мы оказываемся у истоков процесса формирования многих центральных, любимых идей позднего Достоевского, нашедших отражение в его романах 1860—1870-х годов, присутствуем при самом акте их рождения. Некоторые стороны общественно-исторических взглядов и философско-этического мировоззрения Достоевского выражены в публикуемых записях с такой четкостью и полнотой, с какой они нигде не формулировались впоследствии. Это в особенности относится к обширной и чрезвычайно интересной, опубликованной до сих пор неполно и с рядом неточностей, записи, сделанной Достоевским в записной книжке 16 апреля 1864 г., на другой день после смерти его первой жены, и к тематически развивающим эту запись заметкам в другой тетради 1864—1865 гг., озаглавленным «Социализм и христианство». Записи эти глубоко раскрывают ряд сторон мировоззрения Достоевского и его мучительные внутренние противоречия.

В первобытных патриархальных общинах, — пишет Достоевский в набросках «Социализм и христианство», развивая свою концепцию истории человечества, — человек жил «массами», «непосредственно». Но затем наступила «цивилизация», способствовавшая «развитию личности» и «личного сознания». Цивилизация привела к отрицанию личностью «непосредственных идей и законов» — «авторитетных, патриархальных законов масс»; она создала «враждебное, отрицательное отношение» личности к народу. Поэтому «это состояние, т. е. распадение масс на личности, иначе цивилизация, есть «состояние болезненное», «переходное» к более высокой ступени развития человечества, которая должна способствовать восстановлению нормальных, согласных взаимоотношений личности и народа. Разобщенный с народом человек эпохи цивилизации «чувствует себя плохо, тоскует, теряет источник живой жизни, не знает непосредственных ощущений и все сознает» (стр. 246—248).

Достоевский не ограничивается критикой современной ему цивилизации с точки зрения порожденного ею болезненного разобщения «личности» и «массы». Это разобщение писатель связывает с процессом возвышения буржуазии, в чем он усматривает одну из главных причин неудовлетворительности «европейской» цивилизации. А «с петровской реформой» Россия, как указывает писатель вслед за славянофилами, «приняла в себя буржуазию», вступила на тот же путь, что и Запад (там же, стр. 273).

Каков же путь, ведущий к освобождению человечества от власти буржуазии и к преодолению других «болезненных» явлений, неизбежно порождаемых «цивилизацией»? Русские революционеры 60-х годов, современные западноевропейские социалисты считали, что путь этот ведет через социальный переворот, они хотели, по словам Достоевского, «переродить человека», «изменив насильно экономический быт

его». Достоевский отвергает этот путь. Он считает, что человек должен измениться «не от *внешних* причин», а «не иначе как от перемены *нравственной*». Поэтому не социализм, а христианство должно стать краеугольным камнем освобождения человечества по Достоевскому. К «третьей и последней», свободной ступени общественного развития, по его мнению, должна привести не социальная борьба, а нравственное перерождение людей под влиянием христианского идеала.

«Социализм вовсе не обязательно общечеловечен», — заявляет Достоевский. «Социализм есть органический продукт западной жизни и всех противоречий ее». Но «форма социальных стремлений, форма рисующегося вдали для России идеала, должны быть не те, а наши собственные <...>, органический наш продукт» (стр. 202). На этом основании Достоевский вступает в резкую полемику с русскими и западными социалистами. Возражая Чернышевскому, Добролюбову, авторам прокламации «Молодая Россия», Достоевский обнаруживает нередко непонимание воззрений своих противников: толкуя многие из их идей вульгарно, он опускается временами до уровня Каткова и других представителей философской и политической реакции 60-х годов. Достоевский приписывает революционерам стремление уничтожить сложившиеся особенности национальной жизни и культуры различных народов, превратить общество в «муравейник», а всех людей — в «стертые» пятиалтынные. Подобные обвинения были опровергнуты Марксом и Энгельсом еще в «Манифесте Коммунистической партии».

Заявляя, что социалисты требуют якобы полной нивелировки индивидуального своеобразия, уничтожения семьи и брака, Достоевский — в противоречии с этим — утверждает, что социализм представляет собой продукт той же европейской буржуазной цивилизации, так как доводит будто бы до предела принцип «развития личности» в ущерб «массе», отрыв ее от народа. Материализм революционных демократов 60-х годов Достоевский характеризует как вульгарный материализм, в конечном счете представляющий грубую защиту интересов «бога-чрева» (стр. 248).

И все же при всей резкости, свойственной выпадам Достоевского против «социализма», горячности его защиты «христианства», в его записях отчетливо отражены глубокие сомнения в способности религии действительно помочь освобождению человечества, мучительное сознание слабости и отвлеченности тех самых морально-религиозных идеалов, которые он хотел противопоставить русским революционерам своего времени. Об этом особенно наглядно свидетельствует знаменитая запись, сделанная 16 апреля 1864 г. под свежим впечатлением смерти первой жены писателя М. Д. Достоевской.

Высший для человека нравственный идеал, утверждает Достоевский, выражен в заповеди Христа: «возлюбить человека, как самого себя». «<...> Высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего я, — это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно». Но полное реальное осуществление этого нравственного идеала на земле невозможно, с грустью заявляет писатель. Идеал этот мог воплотить в жизнь «один Христос», образ которого поэту и представляет «вековечный идеал», «к которому стремиться и по закону природы должен стремиться человек». В жизни же реальных, земных людей уничтожение своего я, отказ от своих, личных интересов во имя любви к другим людям, несуществимы. Осуществлению нравственного идеала на земле мешает «закон личности», «связывающий» человека.

Поэтому — таков вывод Достоевского — человек не есть высшая точка исторического развития, но лишь «существо переходное». Цель истории — осуществление идеала христианского братства. Но братство это осуществимо не «на земле», а «в лоне всеобщего синтеза», может быть «на другой планете». Где и когда будет реально возможен «всеобщий синтез» — предсказать невозможно, хотя стремление к нему и образует идеальную цель жизни человечества и отдельного человека (стр. 173—175).

В итоге оказывается, что нравственный идеал осуществим, по Достоевскому, лишь в неопределенном и отдаленном будущем, и не «на земле». «Христос проповедовал свое учение только как идеал», — пишет Достоевский, — и «сам предрек, что до конца мира будет борьба и развитие». «Закон личности», грубые страсти, взаимная отчужденность и разведение эгоистических человеческих «я» неотделимы от земной жизни, — таков глубоко пессимистический конечный вывод писателя; они образуют такой же вечный

«закон природы», как присущее человеку стремление отдать свою жизнь за других, осуществить идеал братства и справедливости.

Достоевский вынужден, таким образом, с болью сердца отказаться от мысли об осуществлении идеала свободы и справедливости «на земле». Это превращает его идеал будущего в нечто родственное кантовскому категорическому императиву, но в то же время и столь же бессильное и отвлеченное, как последний. Люди должны стремиться, по мнению Достоевского, подражать Христу и воплощенному в его личности, как она изображена в Евангелии, «вековечному» идеалу. И в то же время этот идеал неосуществим «на земле», он «противоположен» человеческой природе, а потому практически недостижим (если бы кто-нибудь его и достиг, то неизбежно натолкнулся бы на сопротивление других людей с их эгоизмом и разрушительными страстями, составляющими закон природы, — эту мысль Достоевский несколько позднее выразил в романе «Идиот») ²¹.

Писатель сам в известной мере признает здесь бессилие и немощь того христианского идеала, который он стремился полемически противопоставить идеям социализма. Он прославляет «вечную» красоту личности Христа и в то же время сознает неосуществимость его заповедей «на земле», прямо говоря о том, что они «противоположны» законам природы и натуре человека. Эта внутренняя противоречивость защиты «христианства» Достоевским отражает сомнения, о которых он писал еще в 1854 г. Н. Д. Фонвизиной: «Я скажу вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных» ²².

Размышления Достоевского о неосуществимости заповедей Христа, нравственного идеала христианства «на земле» замечательны тем, что они освещают одно из центральных противоречий философского и этического мировоззрения Достоевского.

Достоевского не удовлетворяла идея христианства о примирении за гробом, о гармонии не на земле, а на небе, в «кино», погустороннем мире. Унаследовав от сенсимонистов и других утопических социалистов начала XIX в. веру в будущее наступление «золотого века» не на небесах, а на земле, Достоевский, несмотря на все свои нападки по адресу социалистов, не мог отказаться от этого великого идеала, который он до конца жизни защищал во всех своих произведениях вплоть до «Сна смешного человека» и «Карамазовых». Это, как известно, вызвало после появления «Карамазовых» гнев сторонника элитарного строя, реакционера К. Н. Леонтьева, которому писатель отвечает в последней печатаемой в настоящем томе записной тетради: Леонтьев язвительно (и не без основания) доказывал, что утверждаемый Достоевским в пушкинской речи и в «Братьях Карамазовых» идеал будущей «всемирной гармонии» и общечеловеческого братства ближе к учениям социалистов, чем церковников, ибо по христианскому учению мир погряз во грехе и «спасение» возможно только за гробом ²³. Сохранив после отказа от революционных убеждений молодости веру в реальность и осуществимость будущей земной «гармонии» и счастья людей, Достоевский стремился согласовать этот свой идеал с христианским вероучением — и в то же время мучительно сознавал их несоединимость. Это острое противоречие получило выражение в приведенных записях писателя.

3

Две следующие рабочие тетради Достоевского, к которым мы переходим, относятся к более позднему времени. Тетради эти, как уже было сказано выше, заполнялись с осени 1875 по начало 1877 г. — в период, когда, закончив работу над романом «Подросток», Достоевский отдался работе по изданию «Дневника писателя», возобновленного с января 1876 г., после двухлетнего перерыва. Основное содержание названных двух тетрадей и составляют материалы, связанные с изданием «Дневника писателя» — планы очередных номеров, наброски статей для «Дневника», многочисленные заметки, сделанные при чтении текущей периодики, с целью вернуться к ним позднее и воспользоваться в «Дневнике», черновые варианты отдельных мест. Кроме материалов, связанных с «Дневником писателя», в указанных записных тетрадях от-

разились, хотя и менее полно, творческие замыслы того же периода: в них содержатся записи к неосуществленным Достоевским роману о «теперешних», «современных» «отцах и детях» и к роману «Мечтатель». Наконец, в тетрадах отражена творческая работа Достоевского над теми беллетристическими произведениями и набросками художественного характера, которые вошли в состав «Дневника писателя» 1876 г., — рассказами «Мальчик у Христа на елке», «Мужик Марей», «Столетняя», повестью «Кроткая».

Решившись в 1873 г. осуществить вынашивавшийся годами замысел «Записной книги», Достоевский смог сделать это лишь в урезанном и неполном виде, так как не обладал в это время собственным печатным органом. Как можно полагать, именно желание увидеть, наконец, осуществленной свою давнюю мечту об издании «Дневника» было главной причиной, побудившей писателя в конце 1872 г. согласиться на предложение князя В. П. Мещерского и принять на себя редактирование его реформированной с 1873 г. (выходившей с этого времени в увеличенном формате, с привлечением новых сотрудников) консервативной «газеты-журнала» «Гражданин». Но в «Гражданине» Достоевский, как он вскоре должен был убедиться, не был и не мог чувствовать себя полным хозяином. Поэтому, взявшись вначале горячо за свои редакционные обязанности, он сравнительно скоро начал ими тяготиться, а с весны 1874 г. отказался от них. После завершения «Подростка» Достоевский решил возобновить издание «Дневника» уже на собственный страх и риск — не в виде серии еженедельных (а позднее — появлявшихся неперіодически) фельетонов в журнале Мещерского, каким фактически был «Дневник» 1873 г., а в виде регулярно выходящего ежемесячного журнала, целиком принадлежащего перу самого издателя, журнала, в котором он чувствовал себя вполне независимым и мог свободно определять содержание и внешнюю форму своих статей.

Опытom такого, вполне оригинального тогда в России издания и стал «Дневник писателя» 1876 и 1877 гг., прерванный затем работой над «Братьями Карамазовыми» и возобновленный вновь почти перед самой смертью писателя, в 1880 (когда вышел лишь один его номер с пушкинской речью и ответом на вызванные ею отклики в печати) и 1881 гг.

Замысел «Дневника писателя» был глубоко органичен для Достоевского: с самого начала литературной деятельности его горячо волновала текущая «злоба дня», и у него определились постоянный, напряженный интерес к материалу газетной хроники, материалу, который — при аналитическом подходе к нему, наличию у писателя глубокого взгляда и творческого воображения — представлялся Достоевскому важнейшим, но мало использовавшимся его современниками, источником для философско-психологического и художественного познания современной действительности²⁴. «Дневник писателя» 1876—1877 гг. явился завершением длительных размышлений Достоевского, связанных с решением проблемы нового для литературы его времени, синтетического — художественно-публицистического — жанра.

Возобновив прерванный после оставления «Гражданина» «Дневник писателя», Достоевский видоизменяет его жанр. «Дневник» 1873 г. представлял собой, в сущности, как уже сказано выше, своего рода еженедельный фельетон, посвященный в каждом случае одной теме общественного или литературного характера. «Дневник» 1876 и следующих годов получает другую форму. Он не только приобретает характер самостоятельного журнала, выходящего в виде отдельных ежемесячных выпусков, но имеет и иную, более сложную внутреннюю структуру. Каждый из месячных выпусков «Дневника» 1876—1877 гг., в отличие от «Дневника» 1873 г., посвящен не одной, а нескольким, различным темам. Причем Достоевский стремится затрагивать в «Дневнике», как правило, только такие вопросы, которые живо волновали современное общество, были непосредственно подсказаны текущей «злойбой дня». Если темы «Дневника» 1873 г. по преимуществу связаны с тогдашней журнальной полемикой, то «Дневник» 1876 и 1877 гг. посвящен, главным образом, анализу и обсуждению таких фактов, которые находили широчайшее освещение на страницах газет этого двухлетия, откуда и извлекал их Достоевский.

Еще во второй половине 1860-х годов Достоевский приобрел привычку ежедневно внимательно прочитывать русские и иностранные газеты, пытаясь при этом проникнуть в скрытый смысл скудных газетных известий, рассматривая факты, сообщаемые

ежедневной прессой, как материал, драгоценный для психолога, философа и социолога, стремящихся понять основные черты современной эпохи. Такой метод работы над газетным материалом, метод, который начал складываться у него еще в период создания «Преступления и наказания» и «Идиота», Достоевский положил в основу своей работы над «Дневником писателя» 1876 г. и последующих годов. Публикуемые записные тетради позволяют проследить весь ход работы Достоевского над «Дневником» и раскрывают самую методику этой работы. Знакомясь с ними и перечитывая записи Достоевского, мы как бы незримо присутствуем в его рабочем кабинете и наблюдаем как он, читая текущие газеты, извлекает из них отдельные заинтересовавшие его факты. Мы узнаем, какие оценки и какую реакцию они у него вызывают, видим, как, обогащаясь различными ассоциациями и аналогиями, эти факты ведут писателя к более широким выводам и обобщениям и как эти обобщения, созревая в сознании романиста, постепенно приобретают ту законченную форму, которую они получили на страницах публицистики Достоевского. Наблюдения, почерпнутые из повседневной жизни, и скудные газетные сообщения на наших глазах обрастают психологической «кровью и плотью», а дальнейшие размышления над ними ведут автора «Дневника» порою к глубоким, а нередко и к парадоксальным, ошибочным выводам и заключениям. В сопоставлении, с одной стороны, с помещаемым вслед за текстом комментарием, где кратко охарактеризован основной газетный материал, привлекавший внимание Достоевского, а с другой, с текстом «Дневника» его заметки позволяют проследить весь ход его творческого процесса, определить, на какой материал опирался Достоевский в каждом конкретном случае, подготавливая очередной номер «Дневника».

Достоевский утверждал, что, в отличие от тех русских романистов его эпохи, которые посвятили себя преимущественно изображению жизни «средневысшего» дворянского круга (к числу таких романистов Достоевский относил Тургенева, Гончарова и молодого Льва Толстого), его собственное внимание привлекала вся современная ему «текущая» русская жизнь в ее пестрых многообразных, порой уродливых, проявлениях, связанных с условиями жизни «переходной» эпохи, с резкой исторической «ломкой», которую жизнь эта претерпевала на глазах романиста. Широкий интерес к русской жизни пореформенной эпохи в самых разнообразных и пестрых ее проявлениях и получил свое отражение на страницах его рабочих тетрадей. Внимание Достоевского останавливает на себе не только центральная, но и местная печать, не только столичные, но и провинциальные известия. Его равно волнуют крупные события политической жизни, научные открытия, на шумевшие судебные процессы 70-х годов, железнодорожные катастрофы, незначительные на первый взгляд заметки хроники или помещенные в газете объявления, за сухими строчками которых Достоевский угадывает присутствие скрытой житейской драмы, требующей пристального анализа психолога и публициста. Наряду с взволнованными заметками о милитаризме бисмарковской Германии, о президенте Третьей республики (и монархисте в душе) Мак-Магоне, реакционном претенденте на испанский престол Дон Карлосе, об англиканской церкви и католическом Риме с его притязаниями на всемирное владычество и попыткой предложить новое, универсальное решение «социального вопроса», мы находим в тетрадях Достоевского краткое изложение его опытов морально-психологического, а порой и социологического истолкования многочисленных других вопросов русской и зарубежной жизни 70-х годов (частично использованные Достоевским в «Дневнике писателя») — от анализа распределения мест между партиями или итогов голосования во французской Палате депутатов до бегства из дому гимназиста, спрятавшегося «у Спаса под престолом».

Извлекая из газет факты и сообщения, которыми он намеревался воспользоваться в своей публицистике, Достоевский сопровождает их своими пояснениями и комментариями, подчиняет их развертыванию того комплекса политических, философских, литературно-эстетических взглядов, которые он проводил на страницах «Дневника писателя» в последний период своей жизни. Эти взгляды отчетливо отражены в рабочих тетрадях Достоевского.

Достоевский с самого начала издания «Дневника» горячо настаивал на независимости своего издания — в противовес другим органам русской журналистики 1870-х

годов, связанным со сложившимися и определившимися к этому времени устойчивыми направлениями и группировками. Но независимость эта была, разумеется, иллюзорной: несмотря на субъективное желание Достоевского остаться «вне» партий, способствовать их сближению и примирению непредвзятым, строго объективным анализом занимавших русское общество 70-х годов вопросов, он меньше, чем кто-либо другой из его современников, подходил для этой роли. Достоевский всегда был человеком крайностей — в этом состояла одна из главных психологических особенностей его личности, с которой связаны во многом трагические стороны его судьбы человека и писателя. «Никогда-то я не умел писать постепенно, подходить подходами и выставлять идею лишь тогда, когда уже успею ее всю разжевать предварительно и доказать по возможности», — писал он о себе²⁵. Горячо и фанатически отдавшись своим «почвенническим» убеждениям, Достоевский не мог не подчинить «Дневник писателя» пропаганде своих общественно-политических мыслей и идеалов, за которые он держался тем сильнее, чем больше подтачивали их постоянно мучившие его тайные сомнения. Поэтому неудивительно, что уже в первых номерах «Дневника» отчетливо определилась политическая окраска этого издания, и вокруг него начала разгораться шумная полемика. Как видно из записных тетрадей, эта полемика с начала 1876 г. все время находилась в поле зрения писателя. Выдавливая из газет и журналов различные отзывы о «Дневнике», он постоянно порывался ответить своим оппонентам, желая защитить свое издание и — в особенности — подчеркнуть глубокую искренность и неподкупность своих убеждений. Ряд подобных ответов на упреки критики и откликов на текущую полемику в русской печати вокруг «Дневника», не попавшие в окончательный его текст, также содержатся в записных тетрадях.

Как известно, философское и общественно-политическое мировоззрение Достоевского последних лет жизни поражает своими противоречиями. Многие основные тенденции его отличались глубокой, порою яростной политической реакционностью. Эти реакционные тенденции делали зачастую Достоевского как публициста прямым единомышленником правящих верхов царской России, хотя субъективно он руководствовался совсем иными мотивами и побуждениями, чем деятели реакционной печати.

Достоевский отказывается в «Дневнике писателя» от признания той стихийной ненависти народных масс России к господствующим классам, сложившейся в результате многовекового угнетения народа, которую он сам как художник пронизательно показал и причины которой проанализировал в «Записках из Мертвого дома». Он игнорирует революционные традиции русских народных масс, те исторические сдвиги, которые произошли в жизни и сознании крестьянства после реформы, сдвиги, способствовавшие ломке патриархально-крестьянского мировоззрения, росту революционной ненависти народа к его угнетателям. Подобно другим тогдашним публицистам-неославянофилам, Достоевский смотрит на народ с метафизической, внеисторической точки зрения. Он не видит реального русского крестьянства, стихийно недовольного существующим строем, крестьянства, глубокое брожение которого с такой силой передал в своих последних произведениях Лев Толстой. Отрицая революционные традиции русских народных масс, Достоевский объявляет искания демократической интеллигенции «беспочвенными». Он продолжает утверждать, как и в период «Времени», что искания эти отражают отрыв интеллигенции от народа, явившийся результатом двухвекового «разъединения» в России народа и образованных классов, начало которому положила петровская реформа. Достоевский призывает интеллигенцию отказаться от революционной борьбы против самодержавия, склониться перед народной «правдой», воплощением которой для него являются православная церковь и «связь народа с царем». Он выступает в «Дневнике писателя» с поддержкой внутренней и внешней политики царизма, стремится обосновать ее бескорыстие и национальный характер, совершенно не понимая антинародности этой политики, глубочайшего противоречия между нею и подлинными, коренными интересами русских народных масс.

Достоевский ясно сознавал многие отрицательные черты политической и культурной жизни буржуазной Европы предимпериалистической эпохи. С поразительной зоркостью охарактеризовал он историю французского общества со времен революции

XVIII до конца XIX в., гениально уловив, что ключом для ее понимания является эволюция земельной собственности: «Конвент во Франции раздробил крупную собственность эмигрантов и церкви на мелкие участки и стал продавать в виду бесперывного тогдашнего финансового кризиса Франции. Мера эта обогатила Францию и дала ей возможность через 80 лет (т. е. в 1871 г. — Г. Ф.) уплатить 5 миллионов. Но, способствовав временному благосостоянию, мера эта на страшно долгое время парализовала стремления демократические и раздавила революцию в самом корне, чего, разумеется, не хотели революционеры (...) умножилась армия собственников и наступило безграничное владычество буржуазии, первого врага демоса» (стр. 384). Достоевский обрисовал на страницах «Дневника писателя» не только упадок нравов буржуазной Третьей республики во Франции, но и пронизательно указывал на реакционность политики Ватикана, разоблачал своекорыстный характер позиции Англии, Австро-Венгрии и Германии в восточном вопросе. Достоевский видел, что экономическое господство буржуазии в капиталистических странах Запада куплено ценой угнетения рабочего класса и широких трудящихся масс. Он дал на страницах «Дневника писателя» суровую критику классового общества и буржуазного государства. Великий русский писатель отказался признать «комедию буржуазного единения» «нормальной формулой человеческого единения на земле»²⁶. Достоевский предчувствовал, что буржуазная Европа с ее «парламентаризмами», «накопленными богатствами», банками находится «накануне падения», что «стучится и ломится в дверь» «четвертое сословие» — пролетариат²⁷.

Но, разоблачая хищничество буржуазии, Достоевский выражал свое неверие в способность рабочего класса освободить человечество от эксплуатации, построить новый, справедливый общественный строй. Идеям социализма писатель противопоставлял свою христианскую утопию духовного единения и братства угнетенных и угнетателей, основанного на религиозных идеалах. Высоко оценивая историческую роль русской национальности, Достоевский, в противоположность революционным демократам, связывал великое будущее России не с революцией, не с победой народных масс над дворянством и буржуазией. Он утверждал, что русский народ, благодаря присущей ему всемирной отзывчивости, способности понимать идеалы других народов, поможет их духовному примирению и укажет им пути к общечеловеческому братству, к которому должно привести воздействие идеалов церкви.

Достоевский в своей публицистике зорко подмечал многие слабые черты старого, утопического социализма. Он сознавал, что для уничтожения наиболее глубоких основ общественной несправедливости необходимо не только преобразовать условия общественной жизни, но и изменить сознание самих людей. Однако Достоевский не понимал, что подлинное перевоспитание людей как раз и становится возможным в процессе революционного изменения и преобразования действительности. Он противопоставлял революции задачу духовного изменения людей и утверждал, что сознание людей может измениться лишь под влиянием православия.

Основные реакционные философские и общественно-политические мотивы, которыми проникнута публицистика «Дневника писателя», настойчиво звучат и со страниц рабочих тетрадей Достоевского. Среди занесенных сюда записей мы находим программу заметки «О самодержавии как о причине всех свобод России» (стр. 591—592). Закрывая глаза на происходящие перемены и возражая революционерам, Достоевский пишет, что «внутреннее состояние наше» крепко, «как нигде». Он упорно ждет от царя «будущего поворота на русскую почву»; отрицательно характеризует не только революционеров 60-х годов и народников, но и декабристов, рассматривая все освободительное движение против самодержавия как «дикое дело» «уродливого» западничества (стр. 380).

«Высшая нравственная идея, выработавшаяся (...) всей жизнью Запада, есть грядущий социализм и его идеалы, и об этом нет возможности спорить, — пишет Достоевский. — Но христианская правда, сохранившаяся в православии, выше социализма» (стр. 463). «Всякая нравственность выходит из религии, ибо религия есть только формула нравственности» (стр. 449). Выдвигая под влиянием Парижской Коммуны дилемму: «Коммуна» или «царство божие» (стр. 400), Достоевский отвергает идеалы Коммуны, становясь тем самым в исторической борьбе своей эпохи — вопреки

своему глубокому сочувствию «униженным и оскорбленным» — на сторону старого, обреченного на гибель мира собственности и классового порабощения.

Однако, если бы мировоззрение Достоевского, отраженное в «Дневнике» и его рабочих тетрадах, исчерпывалось этими реакционными мотивами, он не мог бы стать через три года автором «Карамазовых» — романа, в котором с особой силой изображен упадок русского дворянства в пореформенную эпоху, дан суровый, незабываемый образ голодающей русской деревни 70-х годов, отражены глубокие сомнения Достоевского во всех и всяческих религиозных догмах и страстная, никогда не покидавшая писателя ненависть к поработителям народа. Свообразие записных тетрадей Достоевского, как и всего его творчества в целом, заключено в том, что на каждой странице их отражена внутренняя — драматическая по своему характеру — борьба, постоянно происходящая в сознании Достоевского — человека и писателя.

Стараясь убедить себя самого и читателя «Дневника» в незыблемости самодержавия и православия, Достоевский с ужасом видит, как на каждом шагу трещит, обнаруживает свою слабость старая, патриархальная, православно-самодержавная Россия. С гневом бичует он в своих записях развал и деморализацию высших классов, торжество буржуазного хищничества, господство «мамоны», которой в пореформенные годы была отдана на разграбление русская деревня. Самый фанатизм и упорство Достоевского в защите своих «коренных» убеждений, резкость его полемики против материалистов, против «либералов» и «социалистов» в значительной мере, как свидетельствуют его рабочие тетради, говорят о внутренних сомнениях писателя, о желании заставить замолчать в самом себе эти сомнения, от которых Достоевский никогда не мог избавиться, так как их неизбежно снова и снова вызывала в нем сама жизнь.

Достоевского горячо возмущает социальный гнет и порабощение, его гнев и протест вызывает презрение дворянской литературы и публицистики к народу. Отвергая революционные традиции народных масс, не веря в их революционное будущее, идеализируя патриархальные предрассудки и «смирение» крестьянства, Достоевский тем не менее с горячей любовью обращается к народу. Лишь от него одного он ждет появления «лучших людей», необходимых России, с ним связывает свои патриотические надежды и чаянья. «Нам всего ожидать от народа: он только даст нам лучших людей (...) Петр создал лучших людей из дворянства (...), а всех остальных связал податью. Теперь идея Петра раздвинута бесконечно — уже от народа требуют лучших людей...» «Но для этого нужны условия, при которых мог бы дать народ лучших людей» (стр. 382). Возвращаясь вновь и вновь с болью к мысли о порабощении народных масс, Достоевский горячо защищает необходимость освобождения их от угнетения и нищеты, призывает дать им возможность «высшего развития», открыть широкий путь для проявления народных способностей и талантов.

«...Как странно, — пишет в связи с этим Достоевский: — мы, может быть, видим Шекспира. А он ездит в извозчиках. Это, может быть, Рафаэль, а он в кузницах. Это актер, а он пашет землю. Неужели только маленькая верхушечка людей проявляется, а остальные гибнут (податное сословие для подготовки культурного слоя). Какой вековечный вопрос, и однако он во что бы ни стало должен быть разрешен» (стр. 396).

К мысли о необходимости освободить народные массы от эксплуатации и дать им возможность свободного развития Достоевский не раз возвращается в той же тетради: «Я никогда не мог понять смысла, что лишь $\frac{1}{10}$ людей должна получить высшее образование, а что остальные $\frac{9}{10}$ служат лишь материалом и средством (...) я никогда не стоял за мысль, что $\frac{9}{10}$ надо консервировать и что это-то и есть та святыня, которую сохранять должно. Эта идея ужасная и совершенно антихристианская» (стр. 408).

Тревога за судьбу трудящихся масс, интерес и внимание к их настроениям и запросам, неприятие образа жизни и культуры господствующих классов — все эти лучшие стороны мысли и творчества Достоевского отчетливо отражены в его рабочих тетрадах. Они образуют здесь как бы второй, подспудный, глубокий и важный слой мыслей и чувств, постоянно волнующих писателя, несмотря на все его желание заглушить свои сомнения, искусственно подчинить свои мысли защите реакционных и отживших православно-самодержавных идеалов.

В своих художественных произведениях Достоевский нередко пользовался формой страстного, патетического философского монолога героя («Записки из подполья», «Кроткая», «Сон смешного человека»). Но излюбленной формой великого романиста с начала 1860-х годов становится диалог. Уже в «Униженных и оскорбленных» идеологическим центром романа является диалог между князем Валковским и Иваном Петровичем. И уже здесь выясняется главная особенность построения диалогов в романах Достоевского: так же, как в классическом шедевре диалектики XVIII в. — «Племяннике Рамо» Дидро, которым Достоевский увлекался еще в молодые годы²⁸, активную, наступательную роль в диалогах у Достоевского играет «зло», а не «добро». Импробируя перед смущенным Иваном Петровичем, князь Валковский придает своим аморальным идеям увлекательную форму парадокса — и в софизмах этого первого в творчестве Достоевского «парадоксалиста» в причудливой «фантастической» форме отражаются реальные противоречия дворянско-аристократического общества и изнанка буржуазной морали.

Возобновив в 1876 г. издание «Дневника писателя», Достоевский переносит сюда разработанную им в романах 60-х годов и остро отточенную здесь диалогическую форму. В апрельском номере он вводит в «Дневник» фигуру своеобразного двойника и собеседника автора — «Парадоксалиста», который позднее несколько раз снова возникает на его страницах. Отталкиваясь не только от опыта диалогического построения у Дидро, но и от жанра платоновского сократического диалога, а также от вызвавшей его пристальный интерес еще на рубеже 60-х годов книги А. И. Герцена «С того берега», Достоевский делает своего «Парадоксалиста» носителем своеобразной иронической диалектики: в спорах между автором «Дневника» и «Парадоксалистом» получают выражение трагические, неразрешимые, в понимании Достоевского, антиномии буржуазного мира, его традиционные идеи и нравственные ценности. Высказываемые «Парадоксалистом» софизмы (например, защита и восхваление войны) всякий раз резко противостоят не только ходячим представлениям, но и коренным, заветным убеждениям автора «Дневника». И вместе с тем в этих вызывающих парадоксах есть своя логика, так как они обнаруживают относительность отвлеченной морали в обществе, где мир порождает не меньше преступлений, чем война, и где подавление всех возвышенных героических стремлений, унижение миллионов безвинно страдающих людей возведено в ежедневный «нормальный» закон жизни. Записи Достоевского к «Дневнику писателя» позволяют проследить его работу над созданием образа «Парадоксалиста», проследить постепенное развитие, расширение функций этого образа.

Значительное место в тетрадях последних лет занимают заметки, размышления и наброски, связанные с теми главами «Дневника», которые посвящены «восточному вопросу» — освободительной борьбе южных славян против турецкого ига и русскому добровольческому движению помощи славянским народам. Они позволяют проследить эволюцию во взглядах Достоевского, пережитую по поводу восточного вопроса и развития добровольческого движения: пока оно оставалось более или менее узким движением одних лишь образованных слоев общества, оно не вызвало исключительного интереса автора «Дневника». Но когда борьба угнетенного славянства вызвала отклик народных масс царской России, она глубоко захватила и увлекла Достоевского. В пробуждении сочувствия балканским славянам в народной среде, в вызванной им волне общенародных пожертвований и героизме русских солдат Достоевский увидел залог близости будущего пробуждения широких русских народных масс к активной политической жизни, о котором он мечтал с начала 1860-х годов. И хотя в заметках Достоевского-публициста о славянском вопросе в его рабочих тетрадях, как и в соответствующих главах «Дневника», ярко проявились также и реакционные, наивные и слабые стороны его политической мысли — Достоевский не мог провести различия между бескорыстным самопожертвием балканским славянам русских народных масс и официальной политикой самодержавия, — страницы рабочих тетрадей и публицистики Достоевского, посвященные славянскому освободительному движению и русско-турецкой войне, все же в высшей степени знаменательны. Под влиянием настроений, пробужденных в нем борьбой за освобождение славянства, Достоевский подвергает сомнению отвлеченные заповеди христианской морали. Вместо терпения и всепроще-

ния он утверждает в «Дневнике» законность и необходимость вооруженного сопротивления, кровавой расправы с угнетателями. В этих настроениях, владевших Достоевским в годы русско-турецкой войны и отраженных в «Дневнике» 1876—1877 гг., следует искать истоки знаменитого ответа Алехи Карамазова в последнем романе Достоевского на вопрос Ивана о том, заслуживает ли казни или прощения помещик-садист, затравивший собаками крестьянского ребенка: «Расстрелять!».

Наряду с записями к осуществленным главам «Дневника писателя», в рабочих тетрадах 1875—1877 гг. мы встречаем немало записей, отражающих неосуществленные замыслы Достоевского-публициста.

Заканчивая первый (январский) номер «Дневника писателя» за 1876 г., Достоевский писал: «Но вот однако же я исписал всю бумагу и нет места, а я хотел было поговорить о войне, о наших окраинах; хотелось поговорить о литературе, о декабристах и еще на пятнадцать тем по крайней мере... Одним словом — многое приходится отложить до февральского номера»²⁹.

В тетрадах 1875—1877 гг. встречаются заготовки и наброски для неосуществленных глав «Дневника», посвященных как перечисленным, так и многим другим темам. Таковы ряд полемических набросков, направленных против Тургенева и его романа «Дым», с критикой Потугина и его западнических «бредней», размышление о «плюсовом» (положительном) герое в русской литературе (оно содержит весьма важную для понимания творческого самосознания Достоевского характеристику его центральных героев как «страдальцев от внутреннего недоумения»), наброски об общине, о русской сатире, о романах Золя и т. д. Большой интерес представляют страстные, патристические размышления Достоевского о будущем Сибири, заметки, связанные с его постоянной настойчивой борьбой против обезлесения России. Все эти материалы пополняют и расширяют представление о круге замыслов и интересов Достоевского-публициста.

4

Публикация завершается рабочей тетрадью Достоевского, которая служила писателю для записей с осени 1880 г. до последних дней жизни. Ее основное содержание было напечатано вскоре после смерти Достоевского. В настоящем томе даются те записи указанной тетради, которые не вошли в публикацию 1883 г.

Достоевский приступил к заполнению этой тетради после завершения работы над «Братьями Карамазовыми», готовясь возобновить с 1881 г. издание «Дневника писателя». Часть содержащихся в ней заметок связана непосредственно с январским выпуском «Дневника» 1881 г. — последним, который автору удалось осуществить. Из других записей многие носят полемический характер — Достоевский страстно защищает в них свою литературную и общественно-политическую позицию и свой только что законченный роман, постоянно переходя при этом «от обороны к нападению» и резко обрушиваясь на своих многочисленных оппонентов из либерального и демократического лагеря.

По сравнению с записями в тетрадах 1875—1877 гг., заметки 1880—1881 гг. отличаются еще большим фанатизмом в отстаивании своих убеждений. Но в самой их запальчивости ощущается присутствие трагического надрыва. Чувствуется, что Достоевский болезненно переживал в последние месяцы жизни свое одиночество, сознавая, что с годами разрыв между ним и большинством его современников не сгладился, а увеличился. Отсюда — оттенок личного раздражения, вызывающий тон, который сквозит в его полемических заметках, в частности, в отзыве о писателях-современниках — Гончарове, Лескове, Льве Толстом («до чего человек возлюбил себя»), Щедрина. Даже наедине с собой, склонившись над листами записной тетради, писатель сознает себя окруженным подозрениями и враждой, испытывает потребность оскорбить своих противников — не только действительных, но и воображаемых, — нанести им возможно более чувствительный ответный удар.

В последней, предсмертной записной тетради противоречия его мировоззрения проявляются с особой силой. Достоевский со страстным фанатизмом возмущается в ней всем тем, кто корил его за «ретроградность» направления и «необразо-

ванную... веру в бога» (Бгр., 368). Он горячо настаивает на бескорыстии и искренности своих убеждений, бросая своим оппонентам упрек, что демократические и либеральные идеи, пользующиеся в обществе широкой поддержкой, им было защищать легче и выгоднее, чем ему его непопулярное «почвенническое» направление. Писатель не перестает уверять себя и других что «есть бог и мир другой, на иных законах, чем реальный (созданный) мир» (стр. 699). Он утверждает, что единственное спасение России и Европы состоит в торжестве самодержавия и православия.

И в то же время Достоевский трагически сознает свое особое положение в лагере реакции, где он всегда оставался «белой вороной». С новой силой писатель почувствовал это после пушкинской речи и «Карамазовых», вызвавших возражения не только «слева» — со стороны Кавелина, Градовского или Антоновича, но и «справа» — со стороны Константина Леонтьева.

В возражениях оппонентам Достоевский отчетливо раскрывает причины своего одиночества: его убеждениям не хватало наивной простоты и цельности, свойственной реакционерам, связанным с существующим строем своекорыстными классовыми интересами или же служившим ему пером ради денег и карьеры. «Осанна» Достоевского была куплена ценой сложных и мучительных исканий, прошла через «горнило сомнений» (стр. 696). И эти сомнения, как сознавал сам Достоевский, продолжали звучать в его романах, в частности в «Карамазовых». Более того, как видно из заметок Достоевского, он особенно гордился именно теми богоборческими мотивами своего последнего романа, которые тревожили Победоносцева и других реакционеров: «и в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было» (там же).

Достоевский стремился в «Карамазовых» в конечном счете опровергнуть атеизм Ивана. Но он оставался при этом слишком объективным и глубоким мыслителем и великим писателем, чтобы думать, что победа над атеизмом может быть добыта легкой ценой. Он и сам прошел через «отрицание бога», а потому сознавал всю серьезность и глубину возражений, выдвигавшихся против религии революционерами и атеистами своего и прошлых времен. И в своем романе он пытался собрать и развернуть все аргументы не только в пользу христианства и православия, но и *против них*. Представители господствующей церкви и охранители «устоев» смотрели на дело иначе: твердо веря в незыблемость церковного учения, не подвергая его сомнению, они считали, что аргументы его противников не заслуживают серьезного внимания и что бороться с ними надо не путем тщательного анализа этих аргументов (что уже само по себе является уступкой противнику), но путем преследований и подавления инакомыслящих. Так же, как постоянно прорывавшаяся неудовлетворенность Достоевского существующим порядком вещей и его казавшаяся К. Леонтьеву подозрительной страстная тоска по гармонии и братству людей не на «небе», в потустороннем мире, а *здесь, на земле*, это обстоятельство определило наличие никогда не сглаживавшегося до конца жизни противоречия между Достоевским и тогдашними охранителями.

Противоречивость положения Достоевского между революцией и реакцией отражается не только в полемических заметках по адресу его критиков и из революционного и из охранительного лагеря, но и в его оценке существующего положения вещей в России.

Достоевский крайне мрачно смотрит на настоящее и будущее буржуазной Европы. «Богатство — усиление личности, механическое и духовное удовлетворение, стало быть отъединение личности от целого» — таков итог, к которому привело развитие капитализма на Западе (Бгр., 356). В результате Европа стоит на пороге грозных потрясений: «Конец мира идет. Конец столетия обнаружится таким потрясением, какого еще никогда не бывало...», — с тревогой заявляет Достоевский.

Не приемля социализма, не веря в рабочее движение, писатель рисует фантастическую картину будущего: к социализму во Францию примкнут «иезуиты», «католики», «легитимисты», «бонапартисты». И вся эта пестрая и бесформенная громада рухнет у ног самодержавной России, в которой «социализма совсем нет» (там же). Такова картина, в которую Достоевский хотел бы заставить поверить самого себя и читателя своего «Дневника». Нетрудно видеть, что не менее судеб Западной Европы его заботят ближайшие, столь же тревожные, по его представлению, судьбы России.

Достоевский заявляет, что он, «как и Пушкин, слуга царю». Он готов в будущем приветствовать русского императора в качестве «царя и повелителя всего мусульманского востока». И в то же время Достоевский испытывает сомнения в том, что «царь действительно поверит, что народ ему дети». «Что-то уж очень долго не верит» (Бгр., 366).

В России «церковь как бы в параличе, и это уже давно», «в семействах лишь растление» (стр. 682, 668) — такова мрачная оценка Достоевским итогов царствования Александра II. «Это уже не беспорядок, это отчаянье беспорядка» (стр. 680). «Теперь еще валят леса, но скоро все и вся обратится в мошенника, зуд, аппетит капитана Копейкина», — к этим безрадостным выводам приводят писателя размышления над начальной фазой российского капитализма. «Землевладение крякнуло, труда нет...» «Всеобщая бедность. Ничего не покупают» (стр. 679).

В итоге писатель приходит к выводу, который он пытался развить в последнем, январском номере «Дневника писателя» 1881 г.: для того чтобы Россия смогла успешно развить свою особую «русскую идею», миновав фазис капитализма, нужны серьезные реформы и притом не полумеры, а «оздоровление корней» (стр. 688—692). Несмотря на свою вражду к либералам, к социалистам и демократам, писатель вынужден заимствовать ряд пунктов из программы своих идейных антагонистов: он готов отныне признать пользу не только одного нравственного оздоровления личности, но и социально-экономических преобразований: нужно «непреренно и неотложно обложить налогом высшие, богатые классы и тем снять тягость с бедного класса».

При всей недостаточности и утопичности этой, как и других политических и экономических реформ, предлагаемых Достоевским, указанное новое направление его мысли в последние месяцы симптоматично: оно свидетельствует о кризисе прежних надежд писателя на преобразование русского общества путем одной его моральной перестройки, на определенный поворот Достоевского в конце жизни к идее политических преобразований и политической активности. Смерть писателя помешала более отчетливо определиться этому новому повороту в его взглядах, и мы можем лишь гадать о тех сдвигах, которые могли бы произойти в развитии Достоевского (если бы судьба его сложилась иначе) в той новой, сложной обстановке, которая возникла в России после 1 марта 1881 г., в период наступившей после этого еще более глубокой, чем в последние годы жизни Александра II, полосы правительственной реакции.

5

Хотя, как сказано выше, основная часть записей, содержащаяся в публикуемых в настоящем томе записных книжках и тетрадях, связана с работой над литературно-критическими статьями и публицистикой Достоевского, в них содержатся также первостепенные по своему значению материалы, вводящие нас в творческую лабораторию Достоевского-художника. Эта вторая группа материалов знакомит нас с процессом работы Достоевского над его художественными произведениями 60—70-х годов и с некоторыми его неосуществленными творческими замыслами.

В набросках, связанных с проектом переработки «Двойника» (1861—1864), отражено намерение Достоевского ввести в эту раннюю повесть ряд политических мотивов, актуальных в обстановке идейной борьбы 60-х годов и в то же время связанных с новым этапом в развитии мировоззрения писателя. Достоевский задумал дать в ней ироническую «анатомию всех русских отношений к начальству», ввести в повесть новые эпизоды, повествующие о знакомстве и встречах Голядкина-младшего с Петрашевским. Фигура наглого и безнравственного «самозванца»-карьериста Голядкина-младшего должна была превратиться в фигуру политического предателя (что отдаленно подготавливает замысел «Бесов» и образ Петра Верховенского).

Многочисленные записи к «Крокодилу» (1864—1865) дают возможность проследить творческую историю этой повести, насыщенной выпадами против «экономических теорий» «Современника», против демократической («Современник», «Искра», «Русское слово») и либеральной («Голос») публицистики 60-х годов и, в особенности, против Чернышевского и его круга.

В январском номере «Дневника писателя» 1876 г. Достоевский писал о плане «будущего романа», к работе над которым он собирался приступить после окончания «Подростка». «Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и конечно о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении. Поэма готова и создалась прежде всего, как и всегда должно быть у романиста. Я возьму отцов и детей по возможности из всех слоев общества и прослежу за детьми с их самого первого детства.

Когда, полтора года назад, Николай Алексеевич Некрасов приглашал меня написать роман для „Отечественных записок“, я чуть было не начал тогда моих „Отцов и детей“, но удержался и слава богу: я был не готов. А пока я написал лишь „Подростка“, — эту первую пробу моей мысли»³⁰.

В тетради 1875—1876 гг. мы находим ряд «мыслей», отражающих один из этапов обдумывания писателем плана романа «Отцы и дети» (стр. 445—446). Намечая сюжетные линии и ситуации будущего романа, Достоевский кладет в его основу те же факты русской общественной жизни и судебной хроники 70-х годов, которые стояли в центре его внимания как публициста и широко отражены в «Дневнике писателя» 1876 г. Среди персонажей романа намечены «мальчик», находящийся в колонии для малолетних преступников (описание этой колонии, которую он посетил 27 января 1875 г., Достоевский дал в январском выпуске «Дневника писателя» 1876 г.), муж, убивший свою жену на глазах у девятилетнего сына, мальчик-подкидыш, «дети, бежавшие сами от отца», и т. д. Как видно из заметок писателя, он хотел в одном из эпизодов романа художественно пересказать «всю историю Кронеберга» (героя напумевшего судебного процесса, которому Достоевский посвятил ряд страниц «Дневника»), ввести в роман эпизод о «фребелевской школе», критическую характеристику «новейших учительниц» и т. д. Замысел особого романа о «русских теперешних» «отцах» и «детях» не был осуществлен, но тема эта получила вскоре широкое отражение в «Братьях Карамазовых», где изображены три поколения русских «отцов» и «детей» пореформенной эпохи.

О том, что Достоевский в 1876—1877 гг. собирался написать «роман о Мечтателе», мы знаем из письма этих лет к Достоевскому С. В. Ковалевской, которая пишет, что во время болезни ей «вспоминался» один «рассказ» Достоевского из «будущего романа», и предлагает писателю свой вариант развития его идеи³¹.

В последних записных тетрадях отражено несколько последовательных эпизодов развития замысла романа «Мечтатель». Как видно из набросков Достоевского, тема «Мечтателя» одно время переплеталась в его сознании с замыслом романа об «отцах» и «детях»: в наброске (см. стр. 446) «Мечтатель», воспитывающий сына после смерти жены и «мало занимающийся» им, хотя и имеющий на него сильное духовное влияние, задуман как персонаж «Отцов и детей». В других, более поздних записях (того же 1876 г.), под рубрикой «Мечтатель» фигурирует сначала название будущего эпизода «Дневника писателя» (стр. 523, 526, 535), где тип «Мечтателя» должен был занять место, аналогичное типу оппонента Достоевского — «Парадоксалиста», а затем — как заглавие самостоятельного романа (там же, стр. 590—591). Наряду с явлениями текущей жизни («война», «спиритизм») в романе, в центре которого должна была находиться картина сложных, драматических взаимоотношений «Мечтателя» с женой и сыном, важное место автор хотел отвести психологической и морально-философской проблематике. Герой романа характеризуется в набросках как человек «правдивый и честный», долгое время не осмеливавшийся взглянуть в глаза «действительной жизни», спасавшийся в «мечтательном мире» лжи «от отчаяния и от ригоризма вопросов». Но наконец жизнь «втягивает» в себя «Мечтателя» и его жену, однако «Мечтатель» «все портит, — всякую действительность мечтами». Лишь в конце романа герой, по-видимому, должен был «стряхнуть паралич мечтательности и стать человеком» (к чему его и прежде призывал внутренний голос, от которого он «спасался мечтой», желая в мечте быть «идеалом благородства»). Освобождение от «мечтательства» примиряет «Мечтателя» и его жену, устраняет из их отношений мешавшие прежде фальшь и взаимное непонимание. Одна из записей к «Мечтателю» (так же, как тема «теперешних отцов и детей») вплотную подводит нас к замыслу «Братьев Карамазовых»:

«Мечтатель. Великий инквизитор и Павел. Великий инквизитор со Христом» (стр. 470). Следует заметить, что и некоторые другие записи обеих тетрадей (1875—1876 и 1876—1877 гг.) уже намечают отдельные темы и характеры будущих «Карамазовых» (упоминание Лизаветы Смердящей, замечания о безвинно замученном ребенке в связи с делом Кронеберга, размышления, высказанные по поводу спиритизма о «камнях» и «хлебах» и впоследствии получившие развитие в «Легенде о Великом инквизиторе», замысел «поэмы» о бунте и смирении). Это дает в руки исследователю ценнейший материал, позволяющий проследить первоначальный этап творческой истории последнего романа Достоевского, материал, неучтенный В. Л. Комаровичем, Л. П. Гроссманом и А. С. Долининым в их трудах о творческой истории «Братьев Карамазовых».

Основная часть черновых материалов к повести «Кроткая» была опубликована в 1926 г. А. С. Долиным³². Однако в своей публикации А. С. Долинин учел лишь рукописи, хранящиеся в рукописном отделении Пушкинского Дома, не использовав материалов, находящихся в записной тетради (так же, как и ряда отдельных набросков, хранящихся в Гос. библиотеке им. В. И. Ленина). Записи к «Кроткой» (стр. 594—597), в которых отражена более ранняя, по сравнению с опубликованной Долиным рукописью, стадия работы над рассказом, дополняет его публикацию. Они позволяют проследить путь от газетных страниц к повести Достоевского, раскрывают, как формировались постепенно в воображении писателя характеры героев и сюжет рассказа, как обдумывались им отдельные реплики, сцены и эпизоды. Некоторые более развернутые наброски представляют первоначальную разработку отдельных мест рассказа. Они знакомят с работой Достоевского над психологической и речевой характеристикой главного героя. Сопоставление записей, относящихся к «Кроткой», с заметками, сделанными непосредственно при чтении газет, позволяет более полно и конкретно, чем это было возможно до сих пор, охарактеризовать связь сюжета «Кроткой» с материалами тогдашней периодической печати. Анализ этого материала содержится в помещенной в настоящем томе статье Л. М. Розенблюм.

Внимание исследователей творчества Достоевского естественно привлечет краткая запись на стр. 397: «Елка, ребенок у Рюккерта, Христос спросить Владимир Рафаиловича Зотова». Как показал несколько лет назад автор настоящих строк, запись эта дает в руки изучающего творчество Достоевского новые данные, относящиеся к творческой истории рассказа Достоевского «Мальчик у Христа на елке», помещенного во второй главе январского выпуска «Дневника писателя» 1876 г. Она позволяет установить, что при работе над этим единственным своим «святочным» рассказом писатель воспользовался сюжетными мотивами стихотворения немецкого поэта Ф. Рюккерта (1788—1866) «Елка сироты» (или «Елка ребенка на чужбине» — «Des fremdem Kindes heiliger Christ»). Сопоставление баллады Рюккерта и рассказа «Мальчик у Христа на елке», который автор насытил глубоким протестом против человеческого страдания и в который внес характерный для своих произведений «призрачный» петербургский колорит, проливает свет на вопрос об отношении Достоевского не к разработанному творчески им самим, а к «заимствованному» сюжету, — случай тем более интересный, что в творчестве Достоевского мы не встречаем других аналогичных примеров³³.

6

Огромный интерес представляют не только те страницы записных книжек и тетрадей Достоевского, которые содержат наброски произведений, — осуществленных и неосуществленных, — но и страницы, сохранившие для нас размышления писателя о русской и западной литературе, его литературно-эстетические суждения и оценки.

Литературно-эстетические взгляды Достоевского неотделимы от его мировоззрения. Поэтому в его мыслях о литературе и в его оценках творчества отдельных русских и зарубежных писателей отразились и те общие противоречия, которые характеризуют творчество Достоевского в целом. Борьба против революционно-демократической эстетики и связанных с нею явлений передовой, демократической литературы и искусства наложила свой отпечаток на многие литературные заметки и наброски Достоевского. В его записях о литературе и искусстве содержится немало несправедливых

суждений, односторонних и нередко, как показала последующая история, близоруких оценок. Убежденность в своей правоте там, где в действительности историческая правда была не на его стороне, а на стороне его идейных противников, зачастую ослепляла Достоевского, и он оказывался пристрастен и несправедлив не только в суждениях о своих выдающихся современниках — Чернышевском, Некрасове, Щедрина, Тургеневе, Островском, — но и о многих явлениях предшествующей русской и зарубежной культуры (таковы характеристика Пушкина как славянофила, ряд отрицательных отзывов о Чацком, резкие замечания о Рылееве и Лермонтове, о Байроне, политическое бунтарство и богоборчество которого Достоевский склонен объяснять мотивами личной обиды, желанием отомстить за свою хромоту и т. д., что резко расходится с оценкой поэзии Байрона и байронизма как великих культурно-исторических явлений, данной самим же Достоевским в «Дневнике писателя»).

Но в заметках писателя отражены и такие многочисленные литературные суждения и оценки, которые освещают для нас по-новому многие стороны идей Достоевского — великого реалиста, проникнутого острым сознанием громадной ответственности писательского дела, страстной тревогой за судьбы русского народа и всего человечества.

Достоевский неоднократно возвращается к мысли о долге писателя вообще и русского писателя в особенности, перед народом и обществом. Он требует от русского писателя глубочайшей честности, высокого представления о своей общественно-патриотической миссии: «Литература в нашем веке, (в наше время) надо высоко держать знамя чести. Представьте себе, что бы было, если б Лев Толстой, Гончаров оказались бы бесчестными? Какой соблазн, какой цинизм и как многие бы соблазнились. Скажут: „если уж эти, то... и т. д.“ То же и наука» (стр. 544—545). Рассматривая литературу как ответственное национальное дело, писатель считает одной из важнейших ее задач — способствовать «расширению мысли». «Ибо в художественном изложении мысль и цель обнаруживаются твердо, ясно и понятно», — пишет Достоевский.

Идея, мысль должны, по убеждению Достоевского, сочетаться в поэзии со «страстью»: он доказывает, что литература не терпит безразличия и равнодушия, что она требует от писателя горячего воодушевления и заинтересованности вопросами жизни, а не одного холодного наблюдения: «В поэзии нужна страсть, нужна *ваша идея*, и непременно указующий перст, страстно поднятый. Безразличия же и реальное воспроизведение действительности ровно ничего не стоит, а главное — ничего и не значит. Такая художественность нелепа: простой, но чуть-чуть наблюдательный взгляд гораздо более заметит в действительности» (стр. 610).

В то же время Достоевский горячо защищает значение художественности в литературе, видя в ней важнейшее орудие мысли. «Художественностью пренебрегают только лишь необразованные и туго развитые люди, — пишет он в связи с этим. — Художественность <...> помогает выражению мысли» (стр. 376). «Во всяком истинно художественном произведении, хотя бы оно толковало о других мирах, не может не быть истинного направления и верной мысли» (стр. 429). Продолжая и развивая традиции русской реалистической школы XIX в., Достоевский утверждает, что искусство и литература неотделимы от истины, без которой нет и подлинной художественности: «Как только художник захочет отвернуться от истины, тотчас же станет бездарен, и потеряет на ту же минуту весь свой талант» (там же).

В связи с вопросом о судьбе реалистических принципов в современной русской и западноевропейской литературе Достоевский в 1876 г. познакомился с романами Золя. В рабочей тетради он записывает свои критические замечания о французском натурализме. Подобно Гончарову, Щедрина, Глебу Успенскому, Льву Толстому, Достоевский рассматривает выдвинутое Золя и другими натуралистами понимание реализма как сужение его задач и возможностей. Достоевский порицает натурализм за отказ от изображения «красоты», от широкого, творческого понимания «истины» в литературе. «В одном только реализме (Достоевский имеет в виду реализм Золя. — Г. Ф.) нет правды», — записывает Достоевский в связи с чтением романа Золя «Чрево Парижа»: «Фотография и художник. Золя просмотрел в Ж. Занде (в первых повестях) поэзию и красоту...» «Реализм есть фигура Германна (хотя на вид что может быть фантастичнее)...» (стр. 629). И в то же время Достоевский отмечает в «Чреве Парижа»

многочисленные уступки Золя романтической традиции, в особенности в изображении живописца Клода Лантье (стр. 619).

Еще в статье «Выставка в Академии художеств за 1860—1861 гг.» («Время», 1861, № 10) Достоевский выразил свое основное эстетическое убеждение: разбирая картину В. И. Якоби «Партия арестантов на привале», писатель сформулировал мысль, что первое условие всякого искусства — «точность и верность» натуре, «передача правды действительной»³⁴. Но, стремясь в качестве необходимого условия к верной передаче природы, искусство *не может этим ограничиться*. Оно обязано заглянуть в природу глубже. В каждом представляемом им лице искусство должно «откопать человека»³⁵. Именно в этом состоит, по мнению Достоевского, принципиальное различие между «фотографическим» (или «зеркальным») и подлинно-художественным изображением, свойственным только одному искусству, в отличие от всякого другого, чисто механического способа воспроизведения жизни.

«Зритель действительно видит на картине г. Якоби настоящих арестантов, — писал Достоевский, — так, как видел бы их, например, в зеркале или в фотографии, раскрашенной потом с большим знанием дела. Но это-то и есть отсутствие художества. Фотографический снимок и отражение в зеркале — далеко еще не художественные произведения»³⁶. При всей кажущейся точности деталей и даже внешней характеристики отдельных персонажей, на картине Якоби, по мнению Достоевского, *нет людей*, в ней слабо проявилось внимание художника к их внутренней жизни. Все арестанты «у него равно негодяи и все одинакие, как будто потому, что в его мнении сравнивала их этапная цепь. Все у него равно безобразны, начиная с кривого этапного офицера до ключи, которую отпругает мужик...». Между тем, на картине (так же, как везде, в любых других условиях) нет одинаковых людей, как нет людей, вполне потерявших человеческий облик. «Допустим, что большею частью арестанты так сживаются с своим безвыходным положением, что становятся ко всему равнодушны; но в то же время нельзя не допустить, что они люди. Так давайте же нам их как людей, если вы художник; а photographиями их пусть займутся френологи и судебные следователи»³⁷.

«В зеркальном отражении, — продолжал Достоевский, — не видно как зеркало смотрит на предмет или, лучше сказать, что оно никак не смотрит, а отражает пассивно, механически». Истинный же художник видит природу «не так, как видит ее фотографический объектив, а как человек. В старину сказали бы, что он должен смотреть глазами телесными и, сверх того, глазами души, или оком духовным. Пусть же он видит в „несчастных“ арестантах людей, да пусть же и нам покажет это»³⁸.

Ту же мысль Достоевский сформулировал в записной тетради 1880—1881 гг. в словах, заслуженно получивших широчайшую известность как лучшее выражение его художественного кредо. «При полном реализме найти в человеке человека... Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т. е. изображаю все глубины души человеческой» (Бгр., 373).

Большой интерес представляют суждения Достоевского о юморе и сатире в связи с задуманной, но не осуществленной статьей на эту тему:

«Дурной признак, — пишет он, — когда перестают понимать иронию, аллегория, шутку. Упадок образования, ума, признак глупости» (стр. 557; ср. те же мысли на стр. 612 той же тетради). И в другом месте, в связи с анализом пушкинских «Цыган»: «Алеко. Разумеется это не сатира, а трагедия. Но разве в сатире не должно быть трагизма? Напротив и в подкладке сатиры всегда должна быть трагедия. Трагедия и сатира две сестры и идут рядом и имя им обеим, вместе взятым: *правда*» (стр. 608).

В записях Достоевского отражены горячая любовь писателя к русскому языку, забота о его развитии, неустанная работа над обогащением и совершенствованием языка и стиля своих художественных произведений и статей.

Достоевский выступает против французского языка высшего общества, про которое он гневно пишет: «Ломаный французский язык с акцентом и доживание доходов, а остальная огромная масса живет, перебиваясь копейками... Это даже и не буржуазия». Он записывает, подготавливая двойной номер «Дневника писателя» за июль — август 1876 г. (где получила развитие намеченная в приводимой записи тема о русском и французском языке): «Непреренно о русских, говорящих по-француз-

ски... и учащих детей. Какая старая тема... Иностранные языки ужасно полезны, но не иначе как, когда заправился на русском. Тоже в классических языках — никакой пользы без русского языка. А русский язык именно в заgone — и по-французски мыслить научиться и будет международный межеумок...» (стр. 552).

Как пример речи великосветского «международного межеумка», не знающего русского языка, Достоевский записывает комический пассаж, составленный из фраз, принадлежащих двум либеральным писателям и критикам — А. В. Дружинину и В. Г. Авсеенко: «Безукоризненно гапированный молодой человек, проглотивший множество модных увражей, но ум которого продолжает блуждать... в вечных тенебрах, а сердце жаждать всю жизнь одних аржанов» (стр. 626)

Защищая в борьбе с дворянско-аристократическим великосветским обществом и его презрением к родному языку достоинство последнего, его красоту и силу, значение для развития национальной культуры, Достоевский внимательно прислушивается к народной речи, записывая в тетради характерные яркие выражения, пословицы и поговорки, услышанные из уст народа.

Так в отношении Достоевского к русскому языку, как и в других его литературно-эстетических идеалах, отразились стихийный демократизм великого писателя, его скептическое отношение к культуре и эстетическим идеалам господствующих классов. Эти черты взглядов Достоевского неизменно составляли основу всего того лучшего, что было им создано в мучительной борьбе с самим собой, в постоянной, никогда не затухавшей внутренней полемике с реакционными заблуждениями и шатаниями мысли, уводившими его в сторону от истины, которую он страстно искал. В отражении этой борьбы и вызванных ею вопросов — одна из важных сторон, определяющих значение записных тетрадей Достоевского.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Еще до выхода русского издания черновых материалов к «Братьям Карамазовым» они были напечатаны В. Л. Комаровичем частично в немецком переводе в кн.: «F. Dostojewskij. Die Urgestalt der Brüder Karamasoff», Piper Verlag, München, 1928; В. Л. Комарович же была начата в 1920-х годах разработка и публикация материалов к «Подrostку» по рукописи Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина («Начала», 1922, № 2).

² См. Л. П. Гроссман. Путь Достоевского. Л., Изд-во Брокгауз — Ефрон, 1924, стр. 130—131; ср. Б. Вышеславцев. Достоевский о любви и бессмертии. — «Современные записки», т. 50. (Париж), 1932, стр. 288—304.

³ Р. И. Аванесов. Достоевский в работе над «Двойником». В кн.: «Творческая история. Исследования по русской литературе». Ред. Н. К. Пиксанова. М., «Никитинские субботники», 1927, стр. 161—167.

⁴ Н. Ф. Бельчиков. Чернышевский и Достоевский. «Печать и революция», 1928, № 5, стр. 35—53; он же. Тургенев и Достоевский. Критика «Дыма». — «Литература и марксизм», 1928, № 1, стр. 63—94.

⁵ С. С. Борщевский. Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы. М., Гослитиздат, 1956.

⁶ Наиболее обстоятельная характеристика записных книжек и рабочих тетрадей Достоевского дана в статьях В. С. Нечаевой «Рукописное наследие Ф. М. Достоевского» (в книге «Описание рукописей Ф. М. Достоевского», под ред. В. С. Нечаевой. М., 1957, стр. 12—14 и 24) и Л. М. Розенблюм «Творческая лаборатория Достоевского-романиста» («Литературное наследство», т. 77. М., 1965, стр. 22—50). В названном «Описании рукописей» дано и краткое архивное описание печатаемых в настоящем томе материалов (стр. 313—316, 320—323).

⁷ Обстоятельный анализ литературно-общественной позиции журналов братьев Достоевских «Время» и «Эпоха» и общая характеристика полемики Достоевского с демократической журналистикой 60-х годов даны в статьях У. А. Гуральника «Современник» в борьбе с журналами Достоевского» («Известия Академии наук СССР, Отделение литературы и языка», 1950, т. IX, в. 4) и «Ф. М. Достоевский в литературно-эстетической борьбе 60-х годов» (сб. «Творчество Ф. М. Достоевского». М., Изд-во АН СССР, 1959, стр. 293—329), а также в работе С. С. Борщевского «Щедрин и Достоевский».

⁸ См. о журнале «Свечок» нашу статью «У истоков почвенничества» («Известия АН СССР, Отделение литературы и языка», 1971, № 5).

⁹ «Что бы ни говорили о недоброжелательстве наших журналов друг к другу, однако нужно к чести их сказать, что они обращались с „Временем“ очень снисходительно, не обращали внимания на его выходки, не вступали с ним в строгую и серьезную полемику, несмотря на то, что критический отдел „Времени“ почти весь исключительно посвящен был полемике», — справедливо писал Антонович о позиции «Современника» по отношению к «Времени» до статьи «О почве» («Современник», 1862, № 4, стр. 248).

¹⁰ «Современник», 1861, № 12, стр. 180, 184, 188.

¹¹ XIII, 250, 251.

¹² «Время», 1862, № 4. Критическое обозрение, стр. 1—26.

¹³ Там же, стр. 16.

¹⁴ Там же, стр. 17.

¹⁵ Там же, стр. 25—26.

¹⁶ Колебания Достоевского в оценке революционных демократов «Современника» в 1862—1863 гг. отражает статья «Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов» («Время», 1863, № 1). Достоевский писал: «Мы несогласны были с некоторыми уклонениями Добролюбова и с теоретизмом его направления, но вместе с тем подчеркивал, что Добролюбов «был человек глубоко убежденный, проникнутый святою, праведной мыслью, и великий боец за правду» (XIII, 285).

¹⁷ Начало датировки установлено по содержанию записей.

¹⁸ «Из архива Достоевского. „Преступление и наказание“ Неизданные материалы». М.—Л., ГИХЛ, 1931.

¹⁹ См. публикацию В. Э. Богграда «Салтыков-Щедрин. Poleмика с Достоевским» и его же вступительную статью к названной публикации (где указаны также препишующие работы на эту тему и дана краткая их оценка.— «Литературное наследие», т. 67. М., 1959, стр. 363—402).

²⁰ «Письма», II, стр. 44.

²¹ См. об этом: Г. М. Фридендер. Реализм Достоевского. М.—Л., «Наука», 1964, стр. 275—276.

²² «Письма», I, стр. 142. Курсив мой— Г. Ф.

²³ См.: К. Н. Леонтьев. О всемирной любви. Варшавский дневник, 1880, №№ 162, 169, 173; он же. Наши новые христиане. СПб., 1883; перепечатано в кн.: К. Н. Леонтьев. Собр. соч., т. 8. М., 1912, стр. 175—215; ср.: В. Л. Комаров и в ч. «Мировая гармония» Достоевского.— «Атеней». Л., 1924, кн. 1—2, стр. 112—142.

²⁴ «Письма», II, стр. 168—170.

²⁵ XII, 429.

²⁶ Там же, стр. 412.

²⁷ Там же, стр. 410—411.

²⁸ См. об этом: А. Л. Григорьев. Достоевский и Дидро.— «Русская литература», 1966, № 4, стр. 88—102.

²⁹ XI, 173.

³⁰ Там же, стр. 147—148.

³¹ С. В. Ковалевская. Воспоминания детства и автобиографические очерки. М., Изд-во АН СССР, 1945, стр. 117.

³² См.: «Достоевский. Статьи и материалы», т. II. Л.—М., «Мысль», 1924, стр. 439—508.

³³ См.: Г. М. Фридендер. Святочный рассказ Достоевского и баллада Рюккерта. В кн.: «Международные связи русской литературы». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1963, стр. 370—390; Г. М. Фридендер. Реализм Достоевского, стр. 290—308.

³⁴ XIII, 532. Вопрос о степени авторского участия Достоевского в статье «Выставка в Академии художеств», приписанной ему впервые в 1918 г. Л. П. Гроссманом, до сих пор не решен окончательно. Возможно, что статья эта написана Достоевским в соавторстве с П. А. Кузовым (как полагал Б. В. Томашевский) или Я. П. Полонским (последнее предположение, высказанное В. С. Нечаевой, представляется нам более убедительным). Однако принципиальные эстетические положения этой статьи, без сомнения, принадлежат Достоевскому. Это видно из близости их аналогичным положениям статьи о рассказах Н. В. Успенского (XIII, 547—555) и публикуемым в данном томе более поздним записям рабочих тетрадей (ср. заметку на стр. 616: «Реализм, фотография. Фотография на себя не похожа»).

³⁵ Там же.

³⁶ Там же, стр. 531.

³⁷ Там же.

³⁸ Там же, стр. 531—532.